Храмов Н.Н.

Звукотворение

Том I

Н. Н. Храмов

Звукотворение. Роман-память. Том 1

«Издательство «Перо»
2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Храмов Н. Н.

Звукотворение. Роман-память. Том 1 / Н. Н. Храмов — «Издательство «Перо», 2020

ISBN 978-5-00171-461-3

Мечта о былом. Зов прошлого — эхо, отовсюду идущее… к нам. Щемящие душу призраки минувшего. Рубцы на сердце и не ослабевающее биение других не остывающих комочков красных — внутри тебя, — как вечное второе дыхание, как воздаяние судьбы. Иллюзия жизни и жизнь иллюзии. Человек на собственной ладони!.. Явь и сон — незабытьё. И помин, и аминь. Это НАША ПАМЯТЬ — когда время становится дорóгой, вымощенной осколками небьющегося. Понедельник начинается вчера. «Папа подарил мне солнечный мячик!» Маме снова 35 лет…

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00171-461-3

© Храмов Н. Н., 2020
© «Издательство «Перо», 2020

Содержание

глава первая 7
Конец ознакомительного фрагмента. 84

Храмов Н.Н
Звукотворение. Роман-память. Том 1

© Храмов Н.Н., 2020

Жизнь человека – это музыка… без пауз и нот: гармония и какофония души, вырывающейся из судьбы.

глава первая
Недетство его

1

Два мужа было у Тамары Викторовны Глазовой, и каждый оставил ей по сыну. Первенца нарекла Толечкой – имя в краях её, прямо скажем, редкое, а второго, который появился на свет божий через шесть почти годков, называть Прошкой стала: ежли первый, законный, Фёдор, не пил-не курил вовсе (чем гордился – страсть!], то «Максимушка», супружник другой-второй, и наливочку перегодовалую в-во как! потреблял, и дымил смачно, а такожде без конца прошку ширкал – нюхал табачок-с. Бывалоча, намаявшись за день, ну и пропустив со-товарищи граммулечку – опосля трудов праведных да рази ж грех? – переступит порожек родимый, на жёнушку сурово эдак зыркнет (у самого-т лукавинки для Тамары в зрачках припрятаны, озорнинки хмельнющие] и тотчас вгул пехрает: «Глазунья, прошку!» И бросалась комодница наша к шкапу, и доставала всякий раз с торжественностию особенной ларчик невеличкий, заветный, кстати, ещё Фёдора подарок на именины давностные… вынимала щепотку вожделенную, подушечками пальцев припухших бережно-нежно, словно живое что-то, сжимала крупицы травчатые и – несла ему… скользила павою, игриво-радостная, разулыбчивая..; ох, же и любила саморучно табачок нюхательный милому подавать, при этом «тяни, чё уж…» неизменно приговаривая, не иначе как цельный обряд на сей счёт сотворила. (А комодницей слыла, ибо носила в груди мечту высокую – комодом разжиться-обзавестись, чтобы, значит, было где тряпицы разные держать-копить: вдруг аист расщедрится, да и принесет в клювике доцю – кому, как не мамке, о приданом загодя беспокоиться?!)

И Фёдор, и Макс в тайге сгинули. Ушли, сперва Фёдор, а через шесть, почитай, годков Максим, рано утром на зверя, да будто в воду канули. Оба раза рожала вдовой. Сама рожала – сама же и окрестила детушек в часовенке махонькой: кто ей судья? Одно верно знамо: в Кандале Старой, где тужила-жила, других Анатолиев отродясь не бывало, а Прошка, Прохор, значитца, на потом – тот что? При живом Максимушке словцо это постоянно на слуху было, прописалось навроде, саднило аж – оттого немудрено стало и сынишку, кровь-семя единородное, Прошкой именовать, в память об отце.

Время – лучший знахарь, врачеватель ран щемящих, дык нет: и ему невмочь выцедить боль-тоску, исцелить душу от воспоминаний, что поедом гложут, бередят и полынней, горше коих ничегошеньки не выдумать-не сыскать. На людях оно, конечно, полегчее, а вот как сама с собою, наедине, останешься – воем вой, напрасный труд! Никому и ничему не рада. Единственное утешение – дети, два слепка крохотных с обличий сродных. Не будь ребятишек – хана да и только, впору в петлю живьём.

Бают, время разум даёт. Вестимо, даёт, токмо разом и отымает. Что ей, бедовой, до начальной половинки присказки ентовой. Горе горькое по горям ходило, горем вороты припирало, да кончилось, вышло всё. Жизнь завсегда своё возьмёт и лишку не убавит. Как была Тамарочка до Любови охочей, так голодно-жадной пуще прежнего стала-осталась – до счастия бабьего всамделишного, объятий и губ неземных… Э-эх, «чё уж…»

Первый сын – Богу, второй – Царю, третий – себе на пропитание? Не потому ль, чуть пообсохли глаза её жгучие, с поволокой, на Кузьму-соседа понацелилась, она его ещё допрежь первого венчания и побаиваться не побаивалась, но маленько сторонилась – неосознанно, смутно замирала. Краешком сердца замирала, когда замечала быстрый, пристальный взгляд, усмешку (тёплую!), ловила слово, обращённое к ней, его слово. Случалось это редко, потому

хлопот душеньке её не причиняло. Вместе с тем, во скорбные дни и ноченьки-одиноченьки наваждение сие становилось мощнее, острее и она, Тамара, поделать с чувством своим ничего не могла, ибо, как ни крути, а к Неверину Кузьме Батьковичу, к нему, окаянному, позатайно тянулась, тянулась порой слепо, безотчётно, влекомая беззащитною силой страсти роковой в роковой же омут… Запретный плод сладок! Вторая молодость приходит к тому, кто первую сберёг! Румяной сочною налилась Тома, ну, впрямь, что твоя «вкусномолочная матушка»! Все веслинские мужички вдруг ополоумили – какой дивный цветок папоротником диким расцвёл у них на виду, это ж надо! Хм-м… не на ту напали! Она их враз отповадила, отшила – пущай жёнушек родимых ублажают. Ага. А вот по Кузе, по Неверину, – фамилия не того, верно, да только как с лица воду не пьют, так и от фамилий не пятятся – по нему и взаправду сохнуть стала. Сохнуть – не чахнуть! Внешне оставалась ягодкой пригожей, в груди однако всё клокотало, там бушевал изнутряющий полымя-жар, гнездилось безумство испепеляющее, запекались смага, прель…

Увы, глух к потугам ейным остался курчавый наш красавец Неверии, и то дело – сам паче чаяния за Марьей Аникиной бегал, приударял, «замуж собирался». Марья – та в девках ходит, а Томка деток родит. К тому ж по веси-по весне слушком-молвою нечаянно-непрошенно полезло-поползло: другие, мол, женщины беду отводят, а Глазова наша – здорово живёшь! – и ведьме в подмётки, но и не подарок-жена. Так-то. На роду ей, что ли, написано: всякого, кто под венец с ней сунется, изурочит глазом, в могилу болотинную сведёт. Вона каке страсти-мордасти! Не зря, видать, фамилию Фёдорову менять не стала, знаем мы ваших! (Максимушка, тот смирился, не фордыбачил шибко – не с фамилией жить, с человеком. К пустому звуку чего ревновать? Да и с Федей знался-якшался, слава Господи, не раз и не два, даже дела общие имели…]

Мнда-а… время разум даёт, а от большого разума с ума сходят.

Неслись вскачь дни, тянули лямку годы. Когда старшому, Толяне, семь стукнуло, было Тамаре не много не мало – тридцать с гачком. Сидела как-то на приступке верхней, в ногах Прошка барахтался, вдруг… Нет, ничего разэдакого не сталось, всё было на прежних, на заказанных местах своих: карабкалось вгору сквозь застень рванья серого, да лохмищ косматых с гулькин нос солнышко, гонялся за пылюкой ветер-прохвост, шумел-скрипел то дружно, внапряг, а то лениво и вразнобой кряжистый в доску бор окрест, голосила живность, чертили зигзаги-узоры шустрые птахи… и всё-таки чтой-то в мире сменилось, произошло. Будто током прошибло! Дыхнуло, повеяло враз… Подёрнулось рябью волноватой… Иное, новое, свежестранное-не чужестранное коснулось крылом… и радо бы приобнять… Очнулась деревенька, словно из спячки берложьей вышла, на потревоженный улей, муравейник сподобилась: всколыхнулись звуки привычные, засуетилось-заходило вся и всё кругом, резче обозначилось, забилось толчками пульса учащённого, горячечного…

Вот один, а вона и другой-третий мужик (день, благо, воскресный, вруцелётный!] озираясь воровато, спешно в лес подавались с котомками базарными за плечами, но вскорости выныривали из пучины хвойной-лиственничной и нелепо тыкались-мыкались взад-вперёд, чтобы, набравшись духа, опять пропасть на ненадолго в кипени дремучей. Малахай, ичиги стёртые, берданка… На голове у каждого невесть что… бр-р… в жарынь пеклую первосентябрьскую… делы-ы!! А за ними – и жёнки ихние! В домоткани грубой, простой, все такие сурьёзные, активные – живот надорвёшь со смеху. Зачуяв неладную, мышиную возню, что промеж людей пошла, вперекличь растявкалось верноподданное сучьё-собачьё, подтянули кудахтаньем спорым, мычаньем жалобливым вестимо кто… Короче говоря, спокойной оставаться Томка уже никак не могла. Сбираться скоро умела, даром что в бытность девичью непоседой слыла. Раз, два – и готово. Наказала Толяне за младшеньким в оба доглядать, набросила на себя с Фёдорова плеча доху, повязала голову цветастым платком – Максима подарок вслед сговору, и припустила за соседями под общий переполох. Изредка долетали до неё, взъискривались слова,

обрывки фраз – «навалом!», «золото!», «айды!»… Неведомая, ангельская, звонко-загадочная мозаика из падающих ниоткуда, сыплющихся несметно осколков, звёзд, страз, монет, брызг, бисера… Золото! ЗОЛОТА-А!!! Э-эх-ма, сшвырнуть бы наземь, долой судьбу и душу подъяремные (чтобы детей, себя прокормить вкалывала Тамарочка подстать мужику на барина местного, которому по большому счёту каждый, каждая здесь и принадлежали), взмыть птицей вольною-разбитною надо всем, что застит гущи-кущи райские, люто долу гнёт. Сбросить бы с плеч беды-печали, да бабочкой-однодневкой по просторам вешним запорхать… вечно, в лучах и синьке крылышки радужно-прозрачные выполоскать!.. Запеть! Во хмельной пляс-перепляс на радости – взапуски… И-и!!

Впереди – она это ясно видела теперь – широко, по-хозяйски ставя обутые в чёсанки ножищи, ломился её (ой, ли?) Кузьма, сам-один и какой-то разобалдевший, чумной до невероятия – таким она его раньше не знавала. Отчаянное, ухарское и вместе досадливое, хуже – затравленное сквозило во взглядах, которые он поминутно бросал по сторонам. Читалось Тамаре: опростоволосился ведь и ка-ак! Надо было случиться такому!.. Не сумел тайну заманную от сторонних ушей и глаз схоронить…

А дело в том было, что незадолго до дня сего… предрокового в нехоженых дебрях таёжных, где в скрадке сиживал, селезниху ль выцеливая, по другим каким охотничьим надобностям, чудом-случаем неслыханным, образом невиданным знашёл-обнаружил Кузьма самый на свете белом дорогой крушец, быть может, одну-единственную под луной прямо наружу из земли бьющую вперемежку с самородками бессчётными меснику. И это в заболотистых в целом краях! Диво дивное! Пласт тот, по всему судя, (глаз у Кузьмы намётанный, зря, что ли, с приисковыми дружил-якшался!) необъятных размеров был, отливал далече-обок жилами цветно-мутными и на месте том, как водится, ничегошеньки почти не произрастало. Самое же изумительное: почему до него, до Кузьмы, сезам сей сказочный никто не отворил? Век живи – век вопросы ставь и восклицания.

Ещё же раньше в очередной раз к Аникиной пристал с ухаживаниями незатейливыми, а та – шлея, что ли, под хвост попала?! – возьми да брякни:

– Ж-женишок! Гол, как сокол, а туды ж мне…

Обиделся не на шутку тогда Кузя наш. Словом, одно к другому вышло всё. И вот теперь, нынче, в этот день вруцелётный, такой спозаранку пригожий, решил вновь к Марьюшке податься, счастьице наведать, попытать счастья-то! Глядишь, и подфартит. В амурных, правда, напевах не шибко искусен был, одначе и падать в грязь лицом не собирался – орлом глядеть станет, проболтаться не проболтается и от своего не отступит. Линию мужицкую-молодецкую справно гнул и впредь гнуть думку держал. Но когда от ворот поворотом запахло, проговорился, не сумел вовремя язычок прикусить. Она, Марьюшка, даже бровью не повела – эк, мол, тебя разобрало с кладовой злата несметного, ну-ну, завирай дальше! Тут бы Кузьме и остановить словесный поток бурный, ан, нет! Равнодушие, безразличие, а главное – неверие девушки зацепило не на шутку. Попытался было не обращать на них внимания – характер не позволил. И тогда выпалил в сердцах:

– Его тама тьма тьмущая! Ага-а! Валом под ногами! Бери не хочу! Показать могу.

Размахивая лапищами, задыхаясь, слюной брызжа, разве что не заикаясь, горячо, сбивчиво зашептал Марье об открытии потрясительном, умопомрачительном своём. Последняя слушала с большим сумнительством и даже разочарованием. Головой не качала, но размышляла примерно так: «Мели, Емеля, твоя неделя… Бредовые вести да будущей невесте… Видать, и впрямь тебе, Неверии, ни на грош веры… Да ты уж часом не того… Не зря парни наши не дюже с тобой водятся – здравствуй и прощевай покудаво!!.. Пожалуй, и мне, красавице писаной, не след спешить с замужеством, а то ненароком и ошибиться могу на всю жизнь!..» А может, и не думала она такое, зачем зря напраслину на человека возводить?

Он же тем временем разорялся:

– Куча цельная, да что куча?! Тыщи куч, кучищ тыщи!! Насколько глаз хватат… Бери не хочу! Иди за меня. Не прогадашь ведь! Всласть заживём! Да я… да мы… таперича… токмо б честь по чести вышло всё…

Рисовал картины их будущей совместной жизни, уносился в мечтах от сегодняшней яви, грезил, грезил, а она, «Марьюшка» свет Аникина, в ответ серчала желчно, чем-то нехорошим, язвительным наливалась, наливалась, вдруг как оттолкнёт зло ухажёра, да как выпалит:

– Тебе поверь!

Сказала – отшила.

– Вот те хрест!!

Побожился истово.

– Да ну-у?! Слышь, ма!

На взглас дочерин в сенцы вышла тихая, с лицом измочаленным женщина:

– Чево тут сумерничаете? Идить внутрь.

– Милёна-т мой что грит! – К мамаше подалась. Стремительно в ухо обсказывать стала, о чём минуту-другую назад Кузьма проболтался. Блаженное недоверие запунцовело на болезненно-бледном, кротком лице матери, складки кожи чуть заострились, губы готовы были вот-вот разомкнуться…

– Клянусь, не лгу!! Тютелька в тютельку правда всё! Как на духу.

Заполошно троекратно вновь перекрестился… рванул…

– Охолонь, оболонь. Заходь в комнату, зятёчек, – посторонилась, давая тому пройти – раз ужо здесь…

Звенела ранняя моха, тихо-тихо сделалось вдруг в мире. В большой, чисто прибранной горнице с печкой, с закутом восседал за столом сам глава семейства Аникиных с приготовленной уже стопочкой смородиновки. С одной стопочкой, для себя, любимого… а повод – поди ж ты – нашёлся и повод: будущий зять припожаловал!

– Гостю плеснёшь, нет? – Марья вынула из шкапа ещё пару рюмашек… – вот завсегда ты такой. И впрямь для себя… Лишь бы самому себе хорошо сделать, до других и делов нету!

– Цыц, тоже мне…

Короче, кромешную тайну Кузьмы спустя час-другой семейство Аникиных от и до знало. Ну, и зачесались языки, не без того. Аникин-старший – доподлинно известно – под смородиновку заводным становился и тако-ое сбрехнуть мог, что никакому барону Мюнхгаузену не приснится! Хм-м, языки-т, оне как? – попервой чешутся-чешутся, затем развязываются, ты их – на узелок, потуже, так ведь и вовсе заплетаются! Митрофан Степаныч Аникин под доглядом жены-сатаны обмыл новость Кузину, хмель в ём взыграл не на шутку, развёз по утряночке, вот и не утерпел мужик: хмелюга бродит – без сапог водит! Вышел покурить-освежиться, да и стал трезвонить на всю ивановскую! Скапнула ещё годиночка – и старокандалинские до мелочи подробнейшей знали о находке случайной, бесценнейшей. Стали по-одному, по-двое возле дома Аникиных околачиваться, собаку из себя выводить, в окошко распахнутое бесстыже зыркать да подъелдыкивать:

– А шо, Кузь, сватать – так и хвастать!

– Про золотишко, небось, наврал с три короба?

– Поделился бы, сам же гришь: на всех хватит!

– Большо, не жадный!!

– Марья нонче не иначе мильёнщица!

Терпел-терпел Кузьма, ненавистно поедая глазами будущего тестя, что из дурного теста, окно-форточку закупорил наглухо, перед этим отнекнувшись и отчихвостив рьяных-не пьяных… да без толку: кишка тонка оказалась ли, иное что – антипод жабе наружу выполз?.. Смех и грех: раскололся под орех! Вчистую! Такое зло за грудки взяло, такое накатило бесшабашие, позеленел аж, крякнул, раздухарился…

– Не петушись, охолонь! – Вдругорядь призвала к спокойствию, рассудительности тёща завтрашняя, произнесла это и положила сухую, тонкую руку свою на кулачище натруженный-сжатый гостечка дорогого – Скажи: разыграть всех надумал, вот, мол, и разыграл!!

Как бичом стеганула. Переполнила чашу терпения и без того хрупкую.

– Да я… щас… мигом…

Подскочил к окну – зашторенному им же, – вновь настежь его… уткнулся во взгляды многочисленные, разные: суровые и завистливые, с надеждой вялой-припрятанной и сочувственные, злые, с ехидцей и нагло-требовательные… Уткнулся, как в стену каменную. Стушевался было… на мгновеньице… И…

Видать, так устроена душа человеческая, – рассмеялся заразно-не заразительно, лужёной-то своей и басищем на-гора выдал:

– Да-а, с вами каши не сваришь! Добра ентова, и то правда, всем хватит, да ещё останется!

Кисло, остро на Марьюшку посмотрел…

– А ну, за мной! Покажу дорогу, утру носы фомам неверующим! Знал бы, что вот так обернётся, какой-никакой шмат сковырнул бы: вот, мол, глянь-ко, родной! Дык хто ведал, ась?

…швырнул, захлёбываясь, давясь невысказанным чем-то, разудало, сплеча зипунишко латанный-перелатанный и скрылся в глубине дома, чтобы через секунду-другую появиться на порожке, в зипунчике, кстати, и шеметом вон из деревни, в сторону вырубки…

Сколько помнил себя, ни одна живая душа ему не верила. Словно кто призорил, сглазил. А попробуй, мил человек, поживи, коли тянется за тобой с лет ранних ноша сякая. То-то и оно-то!

…в сторону вырубки, за которой стенищей кладеной надвигался лес. Откуда прыти столько? Мужики, бабы – за ним. Пацанва сопливая также увязалась было, но чей-то грозный окрик «Куды?!!» окатил душем холодным сорвиголовы и, взбрыкивая, улюлюкая, горохом по кручепажине рассыпалась, обратную дорогу мигом нашла.

– Струментишко какой надыть бы…

Только и успела молвить Марья.

…Гурьбой, сволочась и горланя, валили, верно, ходко шли – и разносился окрест, облавный будто, охоты шум: сухой, дробный треск лесин, прутняка, гвалт-гиканье, перестуки гулкие-молотящие, разноголосица, забавы ажно детские, гульливые, смех. А кого им хорониться? Ни души в бору… Барин местный по делам в большой город умотал с «половиною» своей – здесь подвезло, кубыть, так что… А тут, в чащобе, – мошка вьётся-звенит, да пот липкий застит глаза. Лишь перестоялый запашок первого, явственного оченно прения от сырости и тепла. Лишь обманчивое, благодатное чувство отрешённости сиюминутной от печалей-бед, замешенное круто на доброй надежде и вере наивной чувство.

Ещё не гнетут стервозно предощущения мрачные – гиблое дело затеяли! бросьте, не поздно покуда!.. Глас благоразумия молчит в тряпицу. Зато пьянит даль дремучая и засасывает голь перекатную.

Свободное, раскованное состояние духа овладело ими – вот она какая, вольница! Нервы-жилы – оголены… и хлещет взакрай воздух ядрёный, и солидарность реет крылато, будто полощется знамя на ветру солнечном, и потому вклещивались в глубь нетронутую, стречь жар-птице своей, богатству-кладу стречь поспешали. Выше, круче забирало солнце, похожее с земли на круглую золотину, в небе намытую – чем не знак простолюдью! – и, как сквозь пятерню растопыренную песок, в невозвратность сыпались тихие послушницы-минуточки. Через пару часов на зыбун наткнулись.

– Не робей, не робей!! Я никого не звал. Сами. А раз сами, так, значитца, с усами! Верняк?

Медленно, сторожко, проваливаясь-погружаясь шагом каждым в наплывный слой трясины, матерясь безбожно и тут же молясь в душе на баженый кочкарник: «Ну, же, держи-и,

родимец…», двинулся Кузьма в одному ему известную сторону света. Остальные все, хоть и были десятка не робкого, но пыл поубавили; сгрудившись, прикусив языки, стояли, вслед Кузе глядели, отирали лбы взопревшие… А што? – чать, не купленные! Кому охота в топь лезть?

– Спятил, Кузя?

– Зыбуном не ходи – оконьями! Засосёт не то… Правее, правее бери!

– Тож-жа, умник! А ну, айды сам сюды, на моё место, тута и присоветуешь. Со стороны-т всяк видней, большо, да и командовать сподручнее! Язви тя…

– А чё, Сусанин наш и впрямь раздухарился! Эй, Кузьма! А за какем-такем лешим тя Седова попервой занесла нечистая?! Ты ж ни слухом ни духом про тое золото не ведал, ась?! Рази што по нужде большой? Гы-ы!..

Последние слова принадлежали Бакалину Степану, известному в деревеньке въедливостью и любознатством своим.

– Дык я другой дорогою шёл, а щас, штоб путю короче, а то к обеду приспичит, сюдой вот… Инный-то – в сторону Елоховской заимки, – у мя тама метки. В аккурат, ну, а то как жо? Зато не с руки часа три ещё топать, а здеся мы почти пришли. Вот я на страх и риск…

– Ну-ну!

Ропот нарастал. И тогда Томка, не будь дурой, растолкав плечами народ честной, задрав юбку набойковую, смело, гордо за Невериным ступила. Она всё это время поодаль находилась и открыто им любовалась, мнила: «Пригож, пригож!.. Хоша баба – что горшок, что ни влей, всё кипит. И пошто тянет к нему, окаянному? У-ух, ведь кабы не бы, уж я-то его приласкала… Никакой Марье не суметь, потому как накопила сил нежных, вдовьих немерено…» Размечтавшись макаром таким, сама по-кошачьи жмуривала, воображала сладко-сладкое невесть что, что и представить – грех срамной.

– Ты тока мотри! В-во даёт! Вернись, дурёха! Куды эт тя нелёгкая понесла? Аль короче короткого бабий век? У тя, слышь-ко, оба супружника, как пить дать, в моховине-т и по-загинули. За ними торопишься? О детушках попеклась бы – не ровен час осиротинишь ведь, да-а! Ну-к, ворочай, покеда целёхонька!

– Швыдче, швыдче!

И тут в перепалку новый встрял голосище – зычный, повелительный:

– Лешак с сым, зыбуном! Дай ходу, мужички, негоже от бабы отставать! Зато, мобыть, и подфартит с золотишком-та…

И стоеросовый баглай, что на голову Бакалина, других мужиков выше был, с виду неуклюже, на деле юрковато, ладно за Тамарой просунулся, по гиблому; в ручищах сжимал сучину здоровенную, коей с решимостью злобной, усердной в водье тыкал, инчас опираясь. Дышал шумно, важно. Собственно, он и подстегнул старокандалинских; с матерком нехитрым, но и неисчерпаемым да со словцом солёным вытягивались они в цепь и змейкой, шаг в шаг, след в след, за идущими впереди смельчаками в глухомань трущобную, в уброд стронулись. Кряхтя и пыхтя.

Наконец кончилась пытка, сушняк с камежником под ногами! Поредел и лес. Свернули вправо и тут в каждом азарт разыгрался, нетерпячка разбирать стала.

– Ну, и чё, Кузь? Скоро, поди?

– Чё да поди! Ша, несносные! Терпи пота, пока терпят бока. Ишшо маненько… С часок, большо!

Слитный вздох вальяжно, купно пронёсся над головами, но, крепче зубы стиснув, за Невериным, за счастьем пошлёпали. И вдруг…

…Зареготал дико, полоумно Кузьма, бросился вперёд, споткнувшись, не сронился чуть, турсук да котомку (Марья запасливая всучила!) порастеряв было, затем-таки подхватил их, сгрёб и ка-ак пустился вприсядку, да ка-ак рухнул на колени, облапив, словно бабёнку чужую, землю… Пригляделись остальные – не земля то была, но один на другой громоздились, отли-

вали багрянцем тусклым самородочки рассыпные, главное же, куда ни забросишь погляд, (чудимое дело!), пробивалась наружу, каменца поверх, жила золотая, рудная матка – вся в подтёках да в родинках бородавочных будто: это так образовались-прилипли чистейшей воды, корольковые! златоньки-золотиночки подчервонные!..

– ХА-ХА-ХА-ХА! ХХХУУУ!! Вота, вота оно!! Не верили?!

Содрогался, заходился восторгом щенячьим Кузьма. И действительно, намётанный глаз в одночасье знаходил что след… И – обомлели пришлые. Тяжело, грудно дыша, вперили взоры истуканьи в сокровища сказочные. Замерли, чтобы… ЧТО?! Ринуться, сломя шею, на тельца золотого, по команде как??

– Чё уставились? Привёл. Вот оно, место тое самое.

Неверии первый в себя пришёл (иначе не мог, вдругорядь здесь!), с колен поднялся, в перепляс новый не пошёл взапуски, хоть и подмывало – жуть! Лишь изумлённо на фигуры «восковые» односельчан вытаращился.

И – прорвало-поехало! Очертя голову, опрометью, дабы урвать кусяру полакомее, на блеск, на ярь драгую, под ноженьками что завалялась, у-ух!! Потеряли головы. Загребасто, кровяня пальцы, в крушец и в меснику вгрызались, отламывали, скалывали кусмени, по мешкам-карманам распихивали, да за пазуху в придачу. Сей миг топорики из опоясок вынырнули, ещё кой-какой струментишко. Заладилось! И то верно – сколько намаялись, бедолаги! Натерпелись от «своово», здешнего кровопивца Шагалова и от миллионера с размахом Горелова, что в сорока с небольшим верстах отсель в городе жир копит. Настрадались вволю! Зато теперь не грех и дёру дать – с золотишком сподручнее. Любую «бамагу» раздобыть можно будет, ежли, конечно, с умом-выдержкою к делу подойти – с печатью гербовой ли, именной. Да что «бамага»?.. печать? Для умного человека – печать, для глупого – замок. Тут выше бери: самоё жисть коли не свою, так хоча детушек сродных перелопатить, дабы краше, справедливее стала – пара пустяков с деньжищами-то! Всё могу, сказало злато. Оно, вишь, великую силу имеет, значительную власть сулит-даёт, 30-ЛА-ТА-А…

Конечно, разговору об оном переселении великом в Кандале Старой и в помине никто не заводил, но мыслишка такая, искре подобная, могла со временем воспламенить далеко не отсыревшие сердца и умы бедных людей. Отчаянье и бесправие полнейшее всех и каждого были благодатной нивой… пороховой! Наперёд отрицать сие – наивно.

Гулко, глухо, сдавленно сопели мужики, бабы и вкруг их скреблась-шушукала деряга-тайга, осоловелая, разбитная. О тщете-суетности человеческой нашей подумывала: «Почто, козявки, бьётесь-печётесь? Вся недолга ваша – в побрякушках блёстких. Смех и грех!»

Огульно, нет ли, надсмехалась она над родовой людской, а поверх неё, точнёхонько к югу, солнцем моримые, тянулись белёсо-блёклые хлопья и мотоузки облачков и немой сговор их звенел-наливался в ушах, аки в омуте древнем, и кощунствовал вальяжно, сверх меры всякой, обволакивая мощью незримой тайгой-насмешницей лелеемые души неприкаянные и, казалось, смягчал, на нет сводил приговоры будущие безбурных пока, затаённо-выжидающих, враждебно-роковых сил свыше… Тягуче плыли… плыли… не качаясь, по неволнам изсиним, на шабаш, на Лысую гору заворачивали, с мироколицей прощевалися… Спади вот сейчас, в миг некий озарительный, пелена с очей и ясно видно станет: не облака-облатки это, но как раз души неприкаянные и есмь – из живых темниц выпростались (а скольким ещё предстоит участь тяжкая разлуки…] и вдоль столбовых вёрст рассейских под перезвоны колокольные – куда?! – путь держат.

Мужики, бабы, белены объемшись будто, вкалывали до упаду, зорили кладовую надежд чаянных, споро прибирали к рукам всёшеньки, что можно с собой прихватить, о пути обратном не помышляя даже, во как! Пупы рвали за ради безбедности завтрашней. По-над ними – твоя и не твоя постель пуховая, ждёт-не дождётся, манит, словно зга-слепота солнечная… Ну, же, Человече! Остановись! Внемли гласу невопиющему! Намёку тихому, позатайному…

И вобрала голову в плечи Тамара, не по себе стало ей – видением жутким смертушка пронеслась, косой синюшной-лютой сверканула… захолонуло сердечушко. Зашлась душа…

– Стойте! Чую, не к добру всё это. Быть беде неминучей…

– Молчи, сеструха!

– Баба бредит, да кто ей верит?

– Шалавая!

– У тя ж хлопцы, Том! Варежку-т не раззёвай!! Навались!!

Тамара обречённо и вместе запуганно, затравленно озиралась. Копошенье вокруг живых человеческих фигур выглядело до нелепости дико. Тяжёлое, спёртое дыхание, проблески пота на лбах, озарённых солнцем ярёным, какие-то механические, слитные и вразнобой движения, производимые шумы… Ей померещилось, что вслед за смертушкой с косярой дымные промельки встали из-под земли золотой… что облапили её и душить начали эти призрачные наваждения. Сглотнула. Попыталась сбросить с себя виденные картины… Краем уха зацепила:

– Чур, мо-ой, мой камушок, не трожь! Не для тебя ево заприметил. А ты, Томк, чё воду баламутишь?

– Не твой, а мой! Аль ты на ём каку метку оставил, на собачий лад? Х-хы!

– Тьфу, мать твою грызлу, я щас на тебе метку сотворю. Отцепись, грю, ща ка-ак перешибу!

– Я т-те перешибу! А ну, не замай!

– Заглохните, оба! Вдрызг обрыдли! Хоча перед Томкой не плюйтесь! А ты, красавица, не смущай сердешных! Не ндравится, большо, выдь в сторонку…

…Сдалась Тамара, не выдержала. Бесстыже раком согнулась, глазами-угольями (оттого ль фамилия такая?) долу впилась – у неё дело также шибко пошло. Крошила, царапала породу, ломая-стачивая ногти, потом подвернулось что-то навроде тесла – и здорово! С новой силой навалилась на жилу россыпную: дробила, отбивала-отбирала, заполняя понемногу сколом драгоценным узорчатый подол. Своя ноша не тянет!

Уходить не хотелось. Сверкала, сыпалась манна небесная, сама в руки шла, побрякивая-вызванивая и зверели изуверив-шиеся, изголодавшиеся люди. В кои-то веки выпал на долю их шанс с нищетой, с зависимостью от толстосумов раз и навсегда покончить, с горклым житьём-бытиём! Уходить не хотелось, а уходить надо было: солнышко в зените своём отобедало, утёрлось облачком, разсупонилось маненько, к постельке клониться начало… Назад же пилить да пилить веслинским, с золотом – о, работка адовая, часа на четыре, а могет и по-боле того. Дома опять же – детишки голодные, хозяйство какое-никакое… Да и Шагалов, холуй гореловский, как пить дать, мужичков с бабами хватится, когда из Ярков воротится. Воротиться к вечеру должон – Кузьме просто подвезло, что всё так вышло. Сам в тьмутаракань лыжи навострил, да и голытьба кандалинская увязалась за ним в отсутствие барина.

– Ф-фух. Ну, кажу соби, прощевай Сыбир! Повэрнуся на Украйну ридну, як у господа Бога за пазухой жыты буду.

– Зыбун, кажись, не обойтить… Мобыть, нормальной путёй пошагаем? Где-ё метки-т, Кузь?

– Ну?! Ento бабка надвое сказала. Однак верно: поспешать надыть. Что до меток – пошто они тебе? За мной дуй – не заплутать! А покелича – будя. Вдругорядь ишшо хапанём!

– Тоди ходымо швыдче!

– Давно б так… А то метки кой-кому подавай!

Верховодил людьми по-прежнему Кузьма. Мужики повиновались безропотно. И снова, кряхтя, матюгаясь почём свет, в пылюке-грязюке да в поту, аки мясо потное, потащили скарб волшебный до дому. Пёрли, пёрли – встречь какой новой судьбе? Ближе к веслинке, на ходу прямо, порешили: в избы золото не вносить, схоронить где-нибудь невдалече, в леску, от глаз лиходейских укрыть надёжно до часа заказанного. Одной ходкой не обойтись, это понятно,

посему – запастись терпением! Ну, и роток – на замок, само собой. А на досуге обмозговать: что дальше деять? Чтобы чин-чинарём всё, не абы-кабы! Ведь с богатством подобным поистине расписные горизонты широко открываются. Живи вдосталь, упущенное навёрстывай, а места под солнцем всем хватит.

Обходить зыбун, конечно, и не подумали, рискнули торной стёжечкой, за Кузьмой! сунуться… Тамара, повелось как, второю, за нею баглай высоченный, затем братан Томкин Евсей, ну, и остальные, амбалы – не амбалы, но и не так чтоб себе, человек под тридцать, основных, всего ничего…

На гиблом завяз Кузя. По пояс.

– Бросай мешок, малахай те в зоб! Куды ты сым, дурья башка?! Пропади оно пропадом, золото! Ещё нагребёшь! Живо мешок с плеч!

– Едри тя в бок по самое нутро! Да ну же, нуж!! Сдохнешь ведь!! За не понюшку табаку дуба дашь, кому грят?!

Смертельная бледность… испарина… нечеловеческий уже, затравленный, неживой взгляд… Худо дело – тонул медленно, оттого неотвратимо-жутко, на глазах у соочевидцев.

– Держись, держись… Щас я… щас…

– Том, ты б о бугорок-то, вишь, слева, оперлась… Лесину-т на, ближе, ближе подводь к ему… Да не боись, я тя за ноги придержу! Чать потерпишь!!

Сунул ей сук свой здоровенный, с коим не расстался, детина высоченный наш, она, кинув рядом собственный шечек с золотишком, ухватила деревяшку ту судорожно, распласталась брюхом прямо по болотине хлюпкой – пара самородоч-ков из подола (там тоже не пусто было!) в водье канули, зато конец палки Неверину протянула:

– Хватай, ну, миленький!

Также судорожно вцепился тот за палочье спасительное, выдохнул:

– Тащи…

Всю неженскую силу любви и надежды повечной вложила Тамара *в тянущие движения* рук. Сцепила зубы, закрыла очушки, дышать перестала… Бесконечно долго… – и время, и *вылезание* Кузьмы, и тишина, заглушаемая слитным дыханием подпирающих сзади кандалинцев…

Выкарабкался, словом. Потрясённый, грязный, чумной, зуб на зуб от страха не попадает. Пережитый шок читался чёрным по белому – губы тряслись, глаза слюдились…

– В рубахе родился, Кузя!! Большо, наука будет!

– Наука!! Да кабы не Томка, сам знашь, пиши пропало! Надысь…

– Мужьям твоим тебя! надо было в тайгу-т брать!

– Н-ну!!

Дальше тронулись. Тамарино золотишко почти всё в тине, рядком с Кузиным, сгинуло. На сей счёт без зубоскальства такожде не обошлось:

– Вы таперича тово: товарищи по несчастью! Ничо! На пару сгоняете! Местечко любое, дорогу знаете, а заодно и метки проверите Кузины! Глядишь, новые намалюете! В обох оно даже приятнее будет! Х-хы!!

И мало кто из присутствующих, видел, наблюдал, как всё это время глазела то на Кузьму, то на вдовушку нашу Марья-свет-Аникина…

До Старой Кандалы версты три оставалось… Знакомые потянулись края. Колодисто да роднёхонько.

– Заживём-та-а…

Мечтательно протянул Евсей Глазов, когда неподалёку от деревеньки, в местечке тут же облюбованном, сокровища ненаглядные упрятали – до оказии удобной. Про себя твёрже твёрдого постановили: возвернуться сюда, как случай представится, тем же составом, чтобы новую порцию заложить-положить – на будущее; токмо случай такой, кумекали, не сегодня и не зав-

тра выпадет, а «зажить-та-а» на нонешнем, старокандалинском непросторе барин не даст, да и чтобы решиться на переселение великое – воля нужна, сразу и не решишься, тем паче, что и речи об этом покуда не предвиделось. Так, в умах колобродит идейка, но от мысли до шагов конкретных – уйма всего! Шуточное ли дело: всею почти Весниной сняться с мест насиженных, с хозяйством, скарбом, и ажно до Урала-Волги дойти, чтобы там разделиться, кому-куда разойтись навеки и опосля каждому, каждой счастливую новую жизнь начать с деньгою немалой и документами справными! Да, не предвиделось, ибо представить оное, вообразить – бр-р, а совершить – так здесь в пот-дрожь, простите, не кидает, швыряет аж!

Не предвиделось, хотя, повторить след, бродил-вызревал замысел, колобродил призрачно, больше на мечту несбыточную^) похожий.

«Заживём-та-а…» – говаривал из кандалинских ктось?

«Зажили».

Проведал обо всём, случилось что, Горелов. Прибрал к рукам золотоносный участок, ибо основное – на глубине, под землёй, как и подобает, скрывалось-было. Застолбил в духе героев джеклондонских, девятью шурфами россыпь вскрыл, нашпиговал прииск своими людьми: разными волостными, душеприказчиками, инженерами-спецами плюс солдатнёй… Народу согнал от души, словом, порядки казарменные завёл – приступил к широкой, промышленной прямо-таки добыче благородного металла всеми известными и разнообразнейшими способами!

Вложил немало денег, но и прибыль рассчитывал заполучить немедленную, баснословную. Деньжата рекой и потекли! Трудились преимущественно каторжане, да сёгады-якуты. Кандалинских же обыскали тщательно, ничего не обнаружив в домах, под полатями, ещё где, привели к тому месту сокровенному, кое золотишку бедолажному приют дало, к меткам-зарубочкам, значит, (вызнали дорогу, сволочи!), повелели «раскошеливаться». После выпороли здесь же, назад отправили, до особого распоряжения высочайшего-с… И тогда порешили меж собой мужики, не вошкая долго, Неверина убить – за предательство подлое. Тюкнули по макушке…

– Сука! Падаль!

– Собаке – собачья смерть!

…в трясину труп швыром; прочь пошли, в «могилу» схаркнув. Получил по «заслугам» Кузьма. Не нужно было своих Шагалову закладывать. Шагалов – кандалинский купчишко, барствовал в округе ихней-здешней, как, впрочем, немало других, подобных ему, помещичков из соседних деревенек. Жил-поживал, добра наживал в домишке мендовом, срубленном в «замок», с подворьем ого-го каким да пристроечками. За самого главного в Кандале Старой считался – с «благословения» гореловского. А «жана ево», Аркадьевна, (это САМ прилюдно её так навеличивал, полное же имя дражайшей половины – Емилиана Аркадьевна; в прошлом любила безумно, до самоотречения «ахвицера» бравого, который, одначе, в пух-прах проигрался, ничьей и, в первую голову, возлюбленной своей, помощи не принял – всё гордыня! – застрелился… будь они неладны, карты эти!), так вот, Аркадьевна, а по-простому, по-мужицки если – «Шагалихой» звали, именно она и передала кому не след про находку Неверина, рывок голытьбы кандалинской в нёдра таёжные, когда на золотце дармовое позарились… про дальнейшее всё… Подслушала, бестия, спутанный, сбивчивый шепоток Кузьмы – тот тайну смертельную муженёчку её за тридцать «иудушек» продавал и за то, что никто из «верхов» не тронет, от наказания положенного ослобонит «Сусанина»! то бишь, его, «первооткрывателя». Ну и навострила к Горелову лыжи, не дожидаясь, когда муженёк пошлёт «в ту же степь». Инициативу проявить изволила. Свидетели, очевидцы были. Невидимкой, али птахой какой сняться неприметно, выпорхнуть не могла. Люди лгать не станут! Частенько наведывалась в гостечки к миллионеру величайшему «Шагалиха» – дескать, по делам, к «горелихе»! Знаем мы ихние делы! На мякине нас не проведёшь! Но да ладно, там – одно, кака-никака система, закономер-

ность образовалась. Можно было даже предсказать ходки еёйные в город. На сей же раз подозрительно скоропостижно намылилась – не потому ль, что мужики да бабы золото знашли?? Тут покумекать трохи треба!.. И допетрили: он, он, Кузя, подвёл под монастырь, гад ползучий! Не зря вот уж какой день смурнее тучи ходит, глаза бегают, руки трясутся… Хм-м! А «Шагалихе» только того и нужно! Предприимчивая, болыио(!]

Почему выдал Неверии тайну великую?

Отчего Емилиана Аркадьевна сорокой на хвосте понесла тайну эту ещё дальше – к Горелову самому?! Именно – тайну, тайну обжигающую, роковую!

Оба струсили.

Кузьма знал, сволочь: рано ли, поздно, только просочится секрет наружу (да хоть по пьяной лавочке, не впервой чать!], а тогда – держись-берегись, толпа кандалинская! Ну, а ежели сам Горелов проведает… а он познает, как пить дать… тут не то что золото дармовое сыщут-отымут до кажинного зёрнышка игольчато-пластинчатого, либо округлого, не то что портки последние сымут-отымут… енто что? Так, цветочки!! Сущий ад наступит. Ведь Шагалов – он кто? Агнец божий по сравнению с золотопромышленником, ворочающим миллионами гигантскими, держащим в узде всю губернию огромадную, (а реально ежели – и поболее!] с чинушами-поберушами, блюстителями порядка, опричниками да всякими-якими подлюдниками. Знал и то Кузьма, что его же первого кандалинские и заложат, ибо не высокого мнения об односельчанах был, после чего власти в сибирку упекут, а потом – и подумать страшно, мурашки по коже… Зато теперь, когда покаялся и «совесть чиста стало быть», глядишь, и пронесёт нелёгкая: повинную голову меч не сечёт! Ну, взбаламутил честной народ, так ведь недаром что мужик-мужак – ума Бог нёдал! Бес попутал. Прости, барин! Отпашу! Отмолю!!

Может, и пронесёт? Выгорит??

«Выгорело»… Зыбун могилой… Вечное проклинание.

Что до «Шагалихи», то здесь свои мотивы, обстоятельства имелись. Была она полюбовницей Горелова и, главное, глазами-ушами его в Старой Кандале, местечке не Бог весть каком, однако, сами видите, сгодилась! Глазами и ушами, полюбовницей с ведома, кстати, Шагалова, который даже и не рыпался: жену-сатану нежностью не баловал, в супружницы взял давно и по ошибке, по неведению насчёт «ахвицерика»-то… так что пущай себе шляется, пущай суёт носик длинный в замочные скважины, вынюхивает что ни попадя, раз уж нравится, глядишь, возьмёт козырька! А у меня и без того хлопот полон рот. Да и на бабий счёт мадама наша не больно в ажуре, а веслинка родная хоть и мала, да есть в ней красавицы навроде Глазовой, Аникиной… Вот эти – пальчики оближешь! Моя же – ку-ку, откуковала! И чего это в ней Горелов нашёл? Хм-м… Ладно, Бог с ним, он – человек видный, ему – большое плавание. А в большом плавании всякое сгодится… Мне главное – костью в горле Родиону Яковлевичу не встрять, нини!! Услужить! С таким шуточки плохи и ревности разные – бр-р! Здесь ухо востро держать надо. Во-о-на сколько помещичков да купчиков разномастных по ветру пустил! А мне покеда всё с рук сходит. Живу – богатею. Боженька даст – и дальше тако будет. Солнышко встаёт, день начинается, кап-кап денежка… солнышко заходит, денечек заканчивается, в постельку нужно пораньше… Живём один раз! И хорошо живём! А будем жить ещё лучше! Даст Бог – будем!

Не даст. Не «будем». И сказ про сие не за горами.

…Осенесь с надеждой, с верой у людей краше было. Нынче совсем невмоготу жизня у старокандалинских пошла. Налоги, поборы, оскорбления, травля, мордолуп – вот что значит раздраконить хозяев! Придиркам жестоким, несправедливостям, обидам конца не видно. Доканывали работный люд похлеще гнуса в вёдро, паутов чище – грызли-выгрызали крысинами голодными души порядочные, лакали вурдалаками кровь… некопеечную! Куда деваться? Зима на носу и даже не на носу. Вотушки, явилась-не запылилась, в лицо, окаянная, разит-не дышит, за грудки, за жабры! хватает. Лютой стужей занозить грозится, сивином замести-позанесть. Обрушила вслед за гневом барским гнев свой, ледяной, разглумилася!.. Крохи остатние

чаяний, теплынь живую из домов-сердец русских поизгнать взялась, надежду-упование в добро земное, во хорошее рядом-вокруг. Дервенеют скулы, что скулы! Дервенели, грубели душеньки – в животах урчит, детишки хрипом-кашлем исходят – как тут быть, деять что?! Настойки из трав лечебных, загодя припасённых (тою же Тамарой!), отвары сандаловые, на слезах замешанные, кончились, иссякли. Да и были – что мёртвому припарки, ведь жили веслинские впроголодь, пахали же нещадно, от зари – до зари и восстановить силы – незадача прямо-таки. Тяжела ты, долюшка народная! До вербного воскресения, до Пасхи господней не раз и не два околеешь. Молитвы отчаянно воплить? Толку? В голендуху мёрли дети. Прошка и Толян Глазовы чудом выжили, зато Тамара совсем извелась, с лица спала, отощала – жуть. Не давал проходу и Шагалов-кобель, сами понимаете, обещал помочь в ответ на обходительность, но гордость Тамарину, её отвращение к особе своей не взломал.

…По ночам бухал отчаянно, страшно, рокочуще тяжёлый, чёрный в смерть чугунище – набатный, сполошный колокол, и подстать лукояновской девке Аксинье, в пургу ль, в морок-стыть, под згой вызвезданной бедная Тамарочка наша била, била в него, за верёвку двумя руками вцепившись, в него, беспросветного, насупротив часовенки махонькой установленного, – ведьму пужала…

Мор. Мор это…

Чума вползала в деревенечку… Шершавым языком слизывала живое на большаке пыточном судьбы российской. И пылали костры не чахлые, и трещали домовины да колоды в огне – хряскали зубы жёлтые, пожирали гробы и гробики… В круге чернотном чермные безумствовали искры… секли прошвой калёной нежить, гнали, гнали прочь…

Небыть… Небыть… Чей сглаз над нами? Не твой ли, страхолюдный?

Обмирала тайга. Невидимые распятия высились окрест, мучеников очередных высматривали-выжидали.

Алкали страстотерпцев.

Какие к лешему надежды на добро, на свет тёплый-тёпленький, на возрождение? Какая радость тайная, какая любовь к ближнему? А ну, взмой в стынь, в стынь паморочную взовьись, человече – что различишь под собою в тенях-тенетах изразцовых мачехи-зимы, в мертвенной бледности дня, по тайге разливанного? что вызришь, на примету возьмёшь, в ладанку положишь свою оберегом бесценнейшим?! Заколодило, закуржавело, замело внизу. Даже редкий звон-звук – и тот надтреснутый вроде, лопающийся поминутно от мороза ледащего, словно рвутся невидимые, тугие струны, губят аккорд ядрёный… Даже выдохи резкие – и те чужие, не твои как, не твои! Чужие и холоденные: рук ими не обогреешь, потому что скукожилась, свернулась в кокон невидимый-нелюдимый, запеклась удаль-силушка молодецкая, аки леденью наждачной обросла-покрылася на глазах твоих прямо… И страшно, страшно, немотно, немочно… сстрррашшшшшно-оо… так. Не хранит Господь, не паришь ты в вышине и не поёшь, не мечтаешь… Не живёшь! И жить-то не хочется.

Чума глодала, огрызала…

Зима пеленала саваном, швыряла белые горсти в не вырытые могилы и только шарахалась от огневищ, сытая да голодная сразу.

Небыть…

Нежить…

Вмурованный в каждого стон…

…Вдруг – вспышечка родненькая в промозглости серой, сплошной… Робкою толикой плеснуло из мартовского ковшика на кошмар стоячий, неуют, блеклость болезную мира… на сон без сна… Живою водицею брызнуло-ополоснуло – махоню самую, чуточку первую, зажданную… Окропило! И тотчас дрогнули реснички… а следом – стряхнули с себя наваждение некое плечи, загорелись огоньки в зрачках. Встрепенулись люди, вместе с ними заходили-загудели и сосны, сосёнки! Напряглись, чтобы соками, смолкой разродиться, смолкой,

наипаче янтаря медового которая быть-стать могла. Зычным, им одним слышимым баском ли, альтом-тенором новый разговор промеж собой повели… Подтянула и меледа кедровая голосами пробудившимися, потянулись потягушеньки вольноотпущенницы-лиственницы во борах девственных – также чтой-то зашелестели… пока ещё без побегов зелёных, только веточками-прутиками оснеженными и мерцающими хрустально, речи повели вспоминательные, однако досужее воображение рисовало живо, ясно, радостно, что стоят они в сочных зеленях своих, шуршат на семи ветрах, птиц перелётных зовут-приглашают на влазины… Трепетно, тонко повеяло завтрашней благодатью! Сколько неги, душистости!.. Терпко, хмельно проник-просочился запашок забористый – в души измождённые вливаться по капельке стал. Почудилось… да нет, не почудилось вовсе: спешит-то-ропится весна-красна, чтобы немножечко облегчить страдания-муки нечеловеческие, выстукивает яркими каблучками весёлый перезвончик, «аленькой» припев, и развеваются, сверкают косы её жгучие, голубеет нежнее нежного солнцетканая шаль на стане точёном, гибком и, живое-победитель-ное, к ней, матушке, ластится – родненькой, нашей!

Перемогли сибиряки и эту чудовищную зиму. И уж как будто начала забываться история с золотом, с Невериным Кузьмой (прости, Господи, грех его, упокой и душу…), стираться в памяти присной, тускнеть. Смирились жители Кандалы

Старой с тем, что под носом у них богатство неслыханное и что не они – другие такие же работные люди на щедром прииске от темна до темна спину гнут, себе на пропитание горбом-потом зарабатывают. Пороптали отдельные личности, вроде Аникина-отца, поворчали – да притихли: вышел порох. С начальством особливо не потягаешься, тем более что большущий зуб у этого начальства на простолюдинов имеется… Словом, вернулось всё на круги своя, и те, кто пережил язву моровую да стужу-зябу гибельную, по-прежнему пахал на помещика, не видя просвета в бесправном положении, в немилосердной судьбе.

Однажды…

2

…На краю весны, близ лета, светозарно-чистые лучились вечера. Снег стаял-сошёл давно, дождички намедни поливали от души и разомлевшая, добрая, мокрая землица к зорьке закатной пообсохла чуток, хотя грязюки хватало. Скользко, плавно будто текли небушком сиреневым космы, гривы, кучери… по-над ширью в тайболах, урманах, логови-нах… плыли, плыли… с час назад белёсые, бестелесные с виду, а в минуты эти словно набухшие, дозревшие, пышно-вздутые и окрашенные в тона необычайные: фиолетово-алые, огневые, томно-бардовые… эко вона! и ведь сие сразу в облачке одном, а таковых… Один бочок в окалине яркой, сердцевина гуашью летучей напоена, вся в подпалинках рдяных, кремовых, пастельных, что же до стороны другой, то она либо кровью обожжена, к прошлому взывая, либо в красном вине вымочена… Не облака, не тучки – заглядение! И веяло чем-то высоким, сказочным, хорошим… И казалось: если долго-долго, неотрывно любоваться многочермной, карминной грядою лепнины небовой сей, то непременно постигнешь, заново откроешь истинные истоки тучечек пелеринных… Начало начал их, предтечи – не за кормой сибирской, не за кромкой лесной и не за окоёмами дальними, не за морями синими, но в сгустившейся плотно тишине вокруг, тишине зыбкой, в чём-то зыбучей, только не пересыпающейся, а переливающейся из одной чаши в другую и страстно стремящейся притулиться к извечным трём ипостасям мирским: умиротворённости, миролюбию, мироносицкой нашей неделе! А ещё мнилось: там, в покое вышнем, высшем, безмолствующем… не пропадут облака, никогда не пропадут, но образом диковинным перейдут, переоформятся в Фаворский свет первых звёздочек и звёзд – но не тлеющих меркло, а дарующих прозрачный блеск очей ангельских, что на веки аредовы, ибо так нужно людям.

Сгорали розовые свечи и оплывали вечера… на краю весны, близ лета самого. Нынешний же вечер, позволим себе наперёд заглянуть малость, колом встанет для жителей многострадальной Кандалы.

Было:

Навкалывавшись за двенадцать с лишком кряду часов, собрались мужички на завалинке у избы старого Трофима Бугрова, которого здесь шибко почитали и который, кстати, за золотом поганым, неверинским, в тот день злополучный не ходил, с детьми дома остался. (Несколько слов: имел он пятерых сыновей – Захара, Ипата, Ивана, Акима и Михаила – по старшинству. Двое оженились – Аким да Иван, внуков принесли. Все сыны – богатыри, статью на подбор! Изба у Бугровых – основательная, завалинок длиннющий, здесь завсегда с удобством можно пристроиться для беседы задушевной ли, деловой какой… Конечно, как старшие самые жён в дом привели, тесно стало, не без того. Задумал Трофим второй дом ставить, да вот события приснопамятные не в жилу пошли, стало быть, повременить решил.) Короче говоря, вечерком погожим и собрались – просто так, стихийно-случайно, можно сказать. Бывает ведь – воротишься домой, в семью, вдруг стреножит тебя глас неведомый и неподвластная рассудку сила заставляет свернуть в сторону, то ли на огонёк чей заглянуть, то ли ещё куда-к кому… Подспудный зов! И ты неосознанно ждёшь в минуты эти странные встречи хорошей, доброго слова, участия в делах твоих, надеешься, что не будешь в тягость, на понимание надеешься крепко, на знак некий, тайный, что свершится нечто заветное и осчастливишься наконец. Зачастую получаешь удовлетворение, хотя порой и наоборот, боком выходит, не без того. Нынче ж подтолкнула мужиков кандалинских придти сюда не столько о пятом-де-сятом посудачить потребность неистребимая, сколько… двоякое чувство непростое: с одной стороны – накипь на сердце тяжёлая, все нервы постоянно дёргающая, раздражающая; ведь жизнь проходит, погодье разыгралось, а в судьбе сдвига днём с огнём не видать, нетути перемен к лучшему, якри его!.. С бока иного – эдакий внутренний протест принудил их – давно ль взаперти, без общения, тужили, боялись заразу смертоубийственную подцепить! Да пошло оно всё, поехало – обрыдло! Надо, надыть сбросить окончательно страх угнездившийся и налюди выйтить! Кстати, и по золотишечку окаянному зависть-тоска покоя не даёт умам иным – лихобродит, бередит, зудит!.. Выхода требует.

Сидели, смолили, травили баланду поначалу и вдруг не выдержали: словно запруду прорвало-снесло – и понесло… Разоткровенничались…

– Заморэ, ох и заморэ вин нас! Зовсим жыття нэ будэ вид гада полозучого!

Гневно, в сердцах Фома Хмыря выдал, сам высокий, кряжистый, приехавший за три девять земель в даль эту с обласканных солнцем берегов Буга Южного лет под пятнадцать назад по причине тщательно и ото всех без исключения им же скрываемой. Однажды утром постучался к барину, тот на пороге, в халатике ситцевом, блискучем, принял, бумаги сунутые проглядел наспех да и махнул рукою вседержительно-милостиво – живи покуда, лепи мазанку, вкалывай за гроши, устрою, уж больно везунчик ты… гляди только, чтоб порядки соблюдал, мною установленные, не то…

По натуре не очень словоохотливый, замкнутый, Фома и зажил – особняком. С годами, правда, малость пообтёрся, одначе языку воли не давал.

Мясистое, крупное лицо его рассекал шрам, сдвинутые к переносице густые, наводные будто, бровищи сливались в минуты смурные, раздумные в сплошное, жирное дужье, которое обводом строгим подчёркивало жёсткий, упрямый абрис и выделяло в характере именно независимость, цельность, самостоятельность, хотя на поверку зачастую выходило (об этом в веслинке знавали немногие), что случай тот, когда барин добро дал, являлся исключительным, а в целом Фома наш представлял из себя личность невезучую, мягкую, а в минуточки особые даже и нежную, лиричную… Глубоко посаженные, оттеняемые бровями роскошными, кустистыми глаза излучали в мгновения такие тёплый, из сердца льющийся свет-понимание… забо-

тушку участливую… печалинку внутреннюю-неприкрытую. И тогда отступал гордец, ведающий себе истинную цену – на его место приходил просто уставший, добрый, чем-то серьёзно заобиженный беглец. Смена декораций происходила внезапно, неуловимо. Вот и сейчас, пока произносил Хмыря слова выстраданные, запевку разговору мужицкому давал, успели зрачки сверкануть зло, яростно – и обмякнуть… сгаснуть… На изваянно-непод-вижном, тучеподобном лице его при этом ни один мускул не дрогнул – лишь билась жилочка тонкохонькая, раскрывая состояние души: сплетение ненависти, озабоченности судьбами земляков новых, собственной семьи, ведь за годы прошедшие обзавёлся не только жильём.

– Гм-м! Правду мовляешь!

Многозначно поддержал украинца Егор Перебейнос, также оттуда хлоп, ныне маящийся на выселке сибиряк, – и выселке не ближней; крутолобый, с чубом взбитым и усами враздрай, некогда лихими, воронёными, с недавних же относительно пор – обвислыми, пожухшими, он, несмотря на последнее и явно удручающее обстоятельство, любил без конца повторять, что бурлит в нём «справжня кров, нэ моча!» и что бережно хранит в «ридний хати далэкий» самого Бульбы знак – саблю «востру», и что перешла она к нему «вид батькы та дида», а не взял с собой «сюды, бо так трэба було…» и при словах оных, загадочных, таинственно улыбался. В Сибири же оказался, ибо набедокурил «трохы» на «витчизне коханой, далэкий!» и по этапу за тыщи вёрст в Богом забытые и этим же, не другим каким, Богом проклятые края зауральские-захребетные, затридевятьземельные, был отправлен на каторгу долгую. Столнером заделался. «Столнер отдушину на свет прорубает, затем, что от духоты людям трудно-не-вмочь» – крепко-намертво заучил по-русски «щирый украинэць» Егорушко Перебейнос за двадцать с лишку «рокив» ада. Отбыв срок, потеряв здоровье богатырское, решил ненадолго «залышытыся» тут, чтобы и подлатать себя малость, и деньгу на путь обратный скопить, да вот прирос, не оторваться стало от могутней тайги… «Почекае сабелька!» – сам себе внушал, успокаивая совесть памятливую и память совестливую! Мужики веслинские души не чаяли в «Егорушке-здоровушке»(!?) Сёгады, вроде Трофима Бугрова, не понаслышке ведали про сечь Сибирскую, оттого в богатыре открыли для себя истинного представителя вольницы казацкой, нездешней, правда, – что с того? Казак казаку – брат. Казацкое братство – дороже богатства! Ничего, что столько лет катовщины за плечами у Перебейноса! Зато дух бунтарский, свободолюбивый осенял Егора постоянно – не мог миром ладить с Шагаловым, хоть ты убей, не мог, не хотел и не приметить блеска в глазах, реяния высокого-непризрачного было бы грехом. Верхом несправедливости было бы. Возвышало, истинно возвышало оно дух его, накладывало отпечаток свой, вот почему замечали в нём не столько усы обвислые – полбеды! – сколько готовность за правду-матку с кулачищами стоять. А на счёт усов, так мужики да бабоньки промеж себя гуторили-баяли: «август каторга, да после будет мятовка!» К тому же, Егора нашего касаемо, прикипел не на шутку, сердцем всем к борам всевечным, сварливым, к долам шумливым… а кому, ответ дайте, не понравится, ежели отчинный край-позакрай твой дорог-люб пришлому из далёкого далека?!

– Гм-м… – вдругорядь, как усом моргнул, Перебейнос, но уже потише, глубокомудрёе. Приглашая к раздумью присутствующих. Потом, вдруг, ни с того ни с сего зашёлся кашлем. Успокоился… Глазами повёл, залысину пятернёй причесал-погладил, вперёд подался и сановито, взвешивая слова, забасил:

– Нэ сэрчай, Фома-зэмэля, що пэрэбываю тэбэ. Меня-старого послухайтэ, мужичкы-казачкы! Трэба гуртом усим, голытьбою на Горэлова навалытыся. Ни то лыхо будэ…

– Лихо думаешь, так нёпочто Богу молиться!

Прервал ктось… но Перебейнос и бровью не вздрогнул, продолжил своё гнуть:

– …тилькы так!! – вхруст сжал кулачище – и тоди загынуть горэловы, шагаловы, инши собакы, ядри йих к бису! Воны, сучьи бисы, звидкэля богаты? З нас жылы тягнуть! Це ж мы

йих кормымо-поимо! Нашими мозолямы деньгу грэбут! Щоб мы тут кровью харкалы, з голоду пухлы, мэрлы вид заразы усякой… свий 6…Й хрэст нэслы!!

– Что тому Богу молиться, который не милует?

Ещё один голос раздался…

– Так я ж цэе самое кажу!!

Выдох громкий, вспарывающее «ОХ»… И опять Фомы Хмыри глас:

– Дурни, яки ж мы уси дурни булы, Егор! И на хрэна нам золото здалось… цэе самое!! Як зараз памъятаю: «Быть беде неминучей!» Томка-т наша права була!

– Ополоумили мы, чого казаты! Обрыдло мэни, як ношу погану, як торбу яку усэ цэе в памъяти таскаю. У нутрях пэчэ…

И разом сплюнули в сердцах Фома с Егором, замолкли, засопели.

Покуда земляки по-своему гутарили, остальные хмуро прислушивались, но в разговор особо не встревали – каждый думал о собственных бедах-заботах, жевал, не мог заглотать свойные горькие, нужливые мысли, кои-то схаркнуть – не схаркнёшь. Не отделаешься от которых. Ярился протест супротив бесправия человечьего, безысходности-боли саднящей и по-прежнему сжат был кулак Перебейноса, словно грозил нежити тёмной. По-прежнему скалой, утёсом мрачным стыл Хмыря и проступал над глазищами аховскими чернобровый, густой насуп.

– Ха! Тамариха-т седня к Шагалову намыливалась, дурья башка, муки занимать-просить! Токма так он ей и отвалил – подставляй мошну! Скоро с самого портки сымут – по миру ево Горелов пустит, да-а! Он. Мильёны деньжищ у ево, чево Шагалов наш? Гол, как сокол, ежли ево рядышком поставить. Босый!

Это Евсей, Тамары Глазовой братан. Живёт с семейством своим в собственной халупе – два года пыхтел-кряхтел, но справил жилище отдельное, а поначалу теснились вместях под одной крышей – не свыкать! Но жисть гибкости учит: подмастил Евсеюшка барину разок-другой и разрешил тот дом ставить, благо леса кругом – хоть завались.

– Босой, гришь? Чрез свою босоту он богатину заимел немалую, а вот, большо, на нашу денежку прах пал. Эт мы с тобой босые, боевой дерьмо и месим! Ни спорок, ни чёсанок, ни чокчур какех – так… Он же, кубыть, ещё тот богачуха! Прав Егор: нашими мозолями, желвью кровяной нашей деньгу прикарманивает, под себя, под зад свой вонючий гребёт, козлина. Э!!

Крякнул, злуя, с нетерпячкой Бакалин Степан, староверов отпрыск, себе на уме, нелюдимый, желчный, будто кто его ошатунил. Дед Степана, силком новокрещенный татарин, покончил с собой в знак протеста самосожжением – не принял веры новой; отец, с пяток лет тому в бозе почивший, кущником был-слыл: не любил суеты мирской, затворничеством жил, хотя о пользе ближним думку в голове держал постоянно. Сам Степан, помня, чьих он кровей, людей ли, нехристей сторонился также, при том при сем знал-понимал: в голендуху всем скопом держаться надыть, иначе худо, хана!

– Чумной, круговой день выпал – затмение нашло! Золото глаза позастило, умишко последний выело. Правду Томка чуяла: быть беде!

– Гы-ы!.. А ты молвь, Стёпушко, на кой ляд она к Шагалову за мукой надысь бегала? Спятила, не иначе! Двоих, почитай, мужей да Кузьмы через неё не стало. «Быть беде», «быть беде»!! Вот и накликала, сама ж! А таперча за барина принялась? Гы-ы… Вот здорово будет, ежли и его кака лихоманка заберёт. Отольются наши слёзы! Я тогда первый за ведьмочку цельный стакан сивухи хлопну! А токмо как мы жить без барина станем-то, ась?

– Шоб тя розорвало, Евся! Не варначь! Про родну сеструху да такое! И как язык не отсохнет? Иль он у тя и впрямь без костей? Ну-к, высунь, покажь! Шо налыбился? Ты б лучше подсобил ей, не вишь, рази, как она с детёнками мается? Небось, дорогу к дому ейному взабыль забыл? Вчистую?! «Ась», «ась»…

Судачат, мол, яблоко от яблоньки недалече падает. Так оно, не так, да по Бакалину неприметно сие. При всей замкнутости, нелюдимости оставался совестливым и справедливым кущ-

ника сын. Потому и балаболке бесстыжему честь по чести ответствовал: нечай сродную забижать!

– Вот что…

Произнёс Трофим Бугров. Все головы тотчас к нему повернулись, но покуда он не проронил ни слова. Ждали мужики. Лишь Глазов Евсей на Бакалина – зырк, зырк, до ушей кончиков пунцовый, остыженный.

Правда, с небрежностью напускной стеблинку сорвал, принялся ею в изножье водить – малевать по грязюке неподсохшей: нехай другие умничают, а я, сопляк, мудрые реченьки послухаю, да на ус намотаю. У меня от своих забот голова ходуном… (Только не сопляк он, ува-ажь! Хоша по живому режь, а не могёт ослобонить сердце брательничье от зудящей вины за не сложившуюся долюшку Тамарину… не могет избавить душу свою, что с её, Тамариной душой, единородная, от чувства сего, выскоблив угрызения горькие!)

Но вновь глас подал Трофим Бугров.

– О Глазовой молчок. Одно верно: бобыль-баба.

Будто током прошибло Евсея. Вздрогнул ненароком, тихо, с поникшей долу головой аж дёрнулся незримо-неприметно – неприметно, пущай, дык ведь проняло! Сильней ткнул в землицу спасительный стебелёк. Было в словах сёга-да, в тоне самом что-то безысходное и потаённо-торжественное, его, Евсея, взбаламученной душе близко-сходное, отмыкающее братнюю сущность для истин-озарений сокровеннейших. Словно высветил кто в ней и в неё, мужицкую, грубовато-прямую, да с ехидцей-ёрничеством втиснул с нажимом боль огромную, боль незаёмную, ибо сродная есмь… Боль вложил, а также сестрину скорбь телесную… телесную! по жизни-не жизни вдовьей и вдовьей же нудьге-тоске!.. Вот что важно, ценно: накипевшее в человеке стороннем (каковым для Евсея и являлся Бугров), накипевшее и вызревшее понимание того, как беспросветно, без продыху, горкло, в тисках отчаянья и нужды лебёдушкой вдовою бьётся Тамара, как в колодец бездонный, будто в никуда, она горлит немотно, и при том несёт крест повседневный свой… так вот, понимание это сострадательное заронило в грудь Евсея полновесные, без плёвел, зёрна тёплой, обволакивающей, долгожданно-наконец облегчающей радости – высокий знак прощения… себе! самому. Он, Евсей, давно уразумел: чему быть, того не миновать. Уж коли задрал обойх мужей Тамариных хозяин-шатун, аль засосала топь болотинная, кочкарник подвёл (а что там в действительности случилось, одному Богу ведомо), то его, Евсея, вины здесь – ну, ни капелечки. Да, умом понимал. Но в том и беда, что и от ума сходят с ума! В закоулках самынных сердца «свово» поминутно чуял, не мог не чуять он шершавый ледок, пронизывающий холод омерзительной и окаянной прикаянности собственной к ударам подлым судьбы непредотвратимой, к ударам, которые сестра стоически выдержала, перетерпела, перед которыми не загнулась, бедолажная, и которые – вона, вишь, где собака зарыта! – он, братан, старшой, непременно должон был отвесть. (Особливо сейчас, когда дегтярный крест на заборе – на каком там заборе – на оградке покосившейся её! кто-то намалевал с намёком явным: муженьков обойх на тот свет спровадила, таперича за чужих мужиков принялась?!

Стоило на Неверина глаз положить, как и его такая ж участь постигла. Не тешь себя тем, что это кандалинские Кузю «подкузьмили» итак, не те-ешь! Ты! Ты – вв…

…и вдруг взорвалось НЕЧТО, родило СЛОВО…

…ВВЕДЬМА!!! И не гадай, чья рука крест намазюкала, и почему крест именно? ХА-ХА-ХА!!!]

…Да, и которые он, Евсей, должон был отвесть. Должон не донжон! А как отвесть, как?? Хоча и не ловил на себе взгляды косые, не шушукались за спиной его веслинские (не до того!], вдогонку Тамаре также открыто никто не бросал до поры до времени уничтожительного «ВЕДЬМА!!!», но оно, словечечко это, реяло в чём-то неуловимом, неуловимое в неуловимом… верно узнаваемом… неслось невидимо в недомолвке, в полусловце, в выражении

странном глаз, смотрящих сквозь неё, просвечивающих и раздевающих сразу… да-а, хоть он и жил в этом смысле спокойнее, однако не-уютцу ощущал и до причин неудобства сердешного доходил долго, неохотно. А может, от собственной негожей мнительности ему только казалось эдак? В иных потёмках опосля своих особенно и не разбежишься!

Так или иначе, но сейчас Трофим Бугров словно заклятие снял – заклятие, завесой тёмной нависшее над Евсеем. Отпустил «грех» без вины виноватого. Сказал-изрёк «бобыль-баба» и тотчас прояснилось всё, задвинулись облака-тучины куда-то, хорошо стало, добропорядочно. Сёгад отсёк решительно, бесповоротно кривотолки-пересуды, внёс в сумятицу невольную мыслей и чувств Евсеиных порядок. Расставил по местам вопросы и ответы, рассудочное и от домышленья что. Сказал – отрубил. Просто, мудро. Уж такие люди наши! Спасибки, рядом живут, словом исцеляют – по-старшинству не показушному. Время ведь страшенное: не до жиру, быть бы живу! Слитно жить надыть, не вздор молоть, не упрёки наотмашь раздавать – сбитнее держаться.

Стихла беседа, ага… Прислушались мужики. Не один Евсей, но и остальные, кто на завалинке находился, поняли: чиста Тамарочка наша и никакая она не ведьма, и не подстилка для Шагалова-самца (правда, и о том впереди сказ, далеко Шагалову в отношении этом до Горелова…), а Евсею нечай языком чесать вдоль-поперёк. Нехай себе живёт, покуда живёт, и хлебушек жуёт нелёгкий!

Стихла беседа. Ага… прислушивались мужики – к себе, к тому, что веяло вкруг них… Словно что-то большое, огромное, незримым прекрасным крылом безшелестно мимо пронеслось и кончиком пёрышек задело мягенько – отошли сердца праведные, на поверку – чистые, благостные. Отозвались скупым, выщемливающим до донышка неведомого душу кажинную вздохом сопереживания участливого, приятием радушным… отозвались пониманием молчаливым, не глухонемым… Что там ни говори, а кандалинским искренне жаль было Тому и детушек её малых, равно и мужей загинувших; последние, как бы она ни рядилась, за кем бы в своём одиночье бабьем не ходила взглядышком очим, к кому бы ни липла-жалась, до сих пор, до сих пор! сны вдовьи делят, во снах этих в гостечки к ней наведываются и живут, живут, дружка к дружке её не ревнуя, в груди Тамариной, в Тамаре Викторовне живыми живут, живыми и родименькими… до боли, до нежнее нежного любимыми и до пуще прежнего пригожими!..

Могуче клубились в закате нависшем, в плечах раздавались (что твои мужья, Тамара!), сшибались лбами в тучу ражую облака залётные, те самые, многочермные, виноалые; ровно, нехотя гудел на семи ветрах перестоялый сосняк и тяжело, плотно надвигалась, обступала широченная густень мрака взбитого – чтобы поглотить в свой час и срок живых. В сумрачной опояске задыхался-помирал день-деньской – с галдежом, нытьём, злобою, потом солёным и бравадами, речами сильными, делами праведными. С улыбкой и благодарением всевышнему… И в отливающих свинцом далях-высях окрест бесноватыми промельками ломались язычки полымя, когда кто-либо из притулившихся к завалинке начинал самокрутку раскуривать, просто «бычок» смолить – казалось так. Наваливался, пёр грудью в кольчужке рваной, на острые копья тайги шёл вечер. На мужиков! ломился и оттого, а ещё от тысяч других «какех» причин, выпросталось из присутствующих давно и долго сдерживаемое не то наваждение какое, не то вообще безысходно-безымянное нечто, накопившееся за долгие-то годы в сердцах… Первым прочувствовал-понял это Бугров Трофим.

– БЫЛ ТУТА СЛУЧАЙ…

Из глуби самой раздался его глас. И вновь, по команде словно, головы сидящих к нему повернулись. Евсей тоже – с благодарным, почтительным вниманием взгляд нацелил. Про Бугрова старокандалинские детишкам да внучатам легенды бают, коих суть – правда, быль. Например, что тащил на руках обессиленного, зверьём диким порванного сотоварища через урманы, излоги с добрых сто вёрст, но таки спас, до отчего дому доволок, где выходили несчастного, к жизни возвернули… что ходил в бытность вниз по Лене-реке чуть ли не к устью еёйному…

что… – да многое что ещё связано было с именем Трофима Бугрова непременно доброго, величавого, истинно русскому характеру подстать. Отношение к себе уважительное земляков сам же он превыше всего ставил-ценил, говорил редко, но метко, хотя о многом-разном поведать мог. Носил славу заслуженную первого охотника на медведя и рысь. Держался ровно, с достоинством, никому в душу не лез, не плевал туда и подавно. В голендуху минувшую всенепременно ближним допомогал. Что ещё? Уж не взыщи на рассказчика, дружок, только Трофим Бугров и впрямь редкостных качеств был личностью: ни при каких обстоятельствах головы не терял, ход событий предсказать умел, условия диктовал, ибо текущий момент в узду брал своею волей и опытностью. Лицо его, кованое из бурь-невзгод, отлива медно-бурого, кипчакского, хотя сроду русичем был, руки – одубелые, сильнющие не по годам хозяина их, шея бычья, как и вся стать – это бросалось в глаза сразу, подчиняло значительностью и представительностью. Плечи – во! Ножищи – во! Одначе не в них дело. Есть богатыри – и богатыри. От одних, от первых, сила исходит силенная, голая, другие же, и к оным Бугров принадлежит, являют собой сгусток духа былинного, непобедимого, сказочного… Что же до пяти сынов его, то первостатейностью пошли они в отца, добрыми молодцами стали. Кстати, сам Бугров-старший ныне за внучат взялся – во славу земли и народа нашего-моего. От мора спас – одно только это о большом подвиге немо свидетельствует. («Добрых парубков подымае!» – говаривали между собой Хмыря и Перебейнос].

…НАМЕДНИЧА…

Недавно, то бишь.

…С СЫНКАМИ Я ТУДА…

Простёр руку в сторону прииска нового, *того самого…*

…ХОДИЛ. ТРЯХНУТЬ СТАРИНОЙ. ПООХОТИТЬСЯ. ПРОХОЖЕГО ВСТРЕЛ… ВЕЛИ ЕГО СОЛДАТЫ…

Иван Зарудный то был, бунтовской, мятежной души обладатель. Двою покушался он, до злобного отчаянья доведённый, на миллионера Горелова – сперва придушить хотел, да челядь дюжая числом немалым начеку оказалась: скрутили, отмордовали охранники, в «блошницу» сунули, пришлось дёру давать. Ну, а потом, во второй раз, в ноченьку сажную, глухую, спалил летний домище крестовый богатея сытого дотла. Что сталось-та-а…

…КОНВОЙНЫЕ, ЗНАЧИТЦА, ПО ВСЕМУ ВИДАТЬ БЫЛО, ЧЕГОЙ-ТО ВЛИВАЛИСЬ ШИБКО, СТОРОЖКО, ТИХО ШЛИ. НЕ ТРАКТОМ НОВЫМ – РЯДЫШКОМ, ОХОТНИЧЬИМИ ТРОПАМИ ТАКОЖДЕ ПРОБИВАЛИСЬ, НЕ БРЕЗГОВАЛИ… ДА ТОКМА СТРЕТИЛИСЯ МЫ… И ПОРЕШИЛИ УСЕХ, ИВАНА ЖЕ ОСВОБОДНИЛИ… СЛАБ, ХУД ОН – ГЛЯДЕТЬ НЕ НА ЧТО, ЖУТЬ БЕРЁТ… ВСТРЕЛИ, ЗНАЧИТЦА, ДА. БОЛЬ ГЛАЗА ЕСТ ЗА ЧЕЛОВЕКА-ТО! ЩАС ВОТ В НАДЁЖНОМ – ОТЛЁЖИВАТЦА…

…что сталось-та-а!.. Изловили его, конечно, опять, опосля того, разумеется, как с четырёх углов хоромы гореловские пышно подпалил, «петуха червонного пустил». Дикошарый сивин разметал огнь пожарищный – чудом тайга не занялась, работным поклон! (Домина, кстати, тот самый был-по-страдал, где Родион Яковлевич Горелов изволили-с в охотку с «шагалихами» баловаться. В ночку памятную, обожжённую заместо полюбовницы какой с ним доцюрка малолетняя находилась, собственная! Тайной, мраком окутанной, было происходившее незадолго до поджёга. Приучал малышку к разврату, постыдным интимом с крошкой занимался, плоть самца холил, маньяка плоть, ангельскую чистоту марал. И делал это с упоением, как сам себе говаривал прежде, *с оттяжкой,* а тем временем Емилиана Аркадьевна, ни слухом ни духом не ведующая ни о чём, своей очереди поджидала, чтобы, значит, возбуждённую похоть тотчас удовлетворить, прийти на *готовенькое*). Чудом тайга не занялась… И учинили на сей раз, второй, бишь, Ивану расправу-наказание лютое: привели старушенцию-мать, жёнку, сына-дитятку, донага раздели и при нём, при Иване, да ещё при всём честном народе, средь белого дня шомполами да трёххвостками вусмерть забили. Цепями к каталажке трупы прито-

рочили, его же самого – насупротив, к дереву и тоже голого такими ж оковами прикрючили и дерьмом своим, гореловским, калорийным(!] цельную седмицу силком щедро скармливали, да так, чтобы непременно ел-жевал говно-с семьи мильёнщиковой. А дабы ночью никто из простолюдинов не допомог ему бежать (куды там бежать!! – водицы малость не поднёс глонуть!..], псов бычачьих подле на привязи держали. Наконец, измученного, больного на прииск, где раньше вкалывал, под присмотром отправили – раз уж с тюряги сбёг, рысак-русак, нехай на-послед столнером… Ить ты, мужик-человек! И ни есть-пить, ни спать-отдыхать ему – лишь кайлом молотить до навечной потери сознания!

…БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК ИВАН. МНОГОЕ ПРО СЕБЯ ОБСКАЗАТЬ УСПЕЛ. САМ-ТО, ВИШЬ, НА ГОРЕЛОВА ТОЙДЕЙ СОХАРИЛ, ДА ЗАСКУДАЛ ШИБКО, СЛЁГ… ПРИКАЩИК ПОВЕЛЕЛ ЕМУ ВСЁ РАВНО ИТИТЬ НА ПРИИСК, ДАЖЕ В ГОСТЕЧКИ К ЕМУ ПРИПОЖАЛОВАЛ, ДОМОЙ. ИВАН НИ В КАКУЮ: ЗАНЕМОГ И ВСЁ ТУТ, А С ПРИКАЩИКОМ ТЕМ ПАРА МОРДОВОРОТОВ БЫЛА, СЛОВОМ, ПОБИЛИ ЕГО ПРИ ЖЁНКЕ И ДИТЯТКЕ, ВО ОНО КАКО БЫЛО… ИВАН, ПРАВДА, СДАЧИ НАДАВАЛ, НОРОВ НЕ ПРИРУЧИШЬ, НЕ ПРИСТРЕМИШЬ, БОЛЬШО! С ТОГО РАЗА ВСЁ И ПОШЛО-ПОЕХАЛО. НЕВЕЛИКА-ТО ШИШКА ИВАН, ОДНАЧЕ КАКИМ ТАКИМ ЛЕШИМ ПРОЗНАЛ ГОРЕЛОВ ПРО СТРОПТИВЦА – ОДНОМУ БОГУ ВЕСТИМО. А С ХАРАКТЕРОМ, КАК У ИВАНА, ТОКМО В БУНТАРИ ИТИТЬ! НУ. А БУНТАРИ ГОРЕЛОВУ НЕ НУЖНЫ, ЭТО ФАКТ. ДРУГИЕ ШТОБ НЕ ЗАРОПТАЛИ… ШТОБ СТРУНЫ НЕ ЗАСТРУНИЛИ!.. А КАКА У НЕГО БОЛЕСТЬ ЗЛОТОШНА, НЕЗЛОТОШНА – ТЬФУ НА РАСТИРКУ! НЕ ГОЖЕ ТАК, А НАДЫТЬ, ШТОБ В ГОЛОВЫ КУЛАК, А ПОД БОК ТАК! СЛОВОМ, ЗАЧАЛИ ОБА ОХОТУ ДРУГ НА ДРУГА. ДЫК НЕ СУДЬБА, ОДНОМУ, ПУСТОДОМКЕ-Т СМЕЛОМУ НАШЕМУ! ОДНО ЗДОРОВО: СВОБОДНИЛИ МЫ ЕВО. БОЖЕНЬКА ПРАВДУ ЛЮБИТ. И ТО ВЕРНО – ДОКОЛЬ ТЕРПЕТЬ? НОНЕ ВСЯ РУСЬ МУЖИЦКАЯ НА ДЫБКИ ВСТАЁТ. ВСЯЯ ГОЛЬ ПЕРЕКАТНАЯ! ТОКМА ЕЖА ГОЛЬЮ НЕ ВОЗЬМЁШЬ! НЕ-Е, НЕ ПРИЩУЧИШЬ! ШТО Я?! ТРЯХНУЛ СТАРИНОЮ СО СЫНКАМИ – В МЕНЯ ПОШЛИ!..

Зловеще, глуше, глубже раздавался голос в темени 66-лой – но и сквозной, прозорой до зги-былиночки на небе и на земле кажинной. Сквозной, прозорой, ибо таковыми делал морок этот невидющий Бугрова ясный погляд, что стекал беззастенно, раздвигал пределы очезримые, испепелял-высвечивал души гордые, к завалинку прикорнувшие, зарил вопросом извечным-безответным покуда…

БОЛЫПО, НЕ МОЛОСНЫЙ ТРОФИМ! ХОЧА И В ЛЕТАХ НЕМАЛЫХ, С ЗАПАРНИКОМ ДА С МАЛЬКАМИ НЕ УСИЖУ! ГНУС МНЕ В ДЫХ, ЕЖЛИ Я НЕ НАШЕНСКОЙ КРОВИ БОЕЦ, НЕ ТЯГЛОВЫЙ МУЖИК ПО ПРИЗВАНИЮ! А ВЫ – АСЬ?!!

Вот оно… Плашмя слово пало, да ребром вопрос встал: как вы, веслинские?!

– Ян-н!

Ужаленно Евсей вскликнул.

– ЭТ-ТЕ НЕ БАБЕ КОСТОЧКИ ПЕРЕМЫВАТЬ. В ДРУГО-РЯДЬ, МУЖИЧКИ, ПРО КОЙ-ШТО РАССКАЖУ… НАСЧЁТ ЕЖА И ГОЛИ-ТО… НЕДАРОМ ГРАМОТЕ ОБУЧЕН. ВЕЛИКИЙ ЕЙ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН. ДА ИВАНУ ТАКОЖДЕ…

– Скажи зараз, Трофымэ!

– НЕТ, ЕГОР, НЕ ПРОСИ.

– Чого ж цэ так? Сам, мабуть, казав, нэмае тут иншого неверина.

– Хуч намёк какой сделай…

– Когда ишшо посидим вот так?

– Уси тэбэ просымо! А?

Одна за другой в бездонье исчёрном отворялись ключиком невидимым заветные раковины и загорались-вспыхива-ли в высочени омутовой звонкие пересвет-жемчужинки – мерцали млечно. Легчайшие, чистые взблески охватывали и неразъятый весь мир под луной, и

странные сердца человеческие – тихо, покойно, изумительно радостно было под Фаворским свечением заполошным, колким… но было также и оченно тоскливо, щемяще и горько так… уж больно далеки они, огонёчечки те сияющие, увы, – и нельзя потрогать самые яркие, дрожкие, и не сымешь их аккуратно с неба, чтобы, не дыша, словно на ладошке снежиночки первые, перенести к себе – куда и зачем? – не на грядущий ли чёрный день! К изголовью… души!

– ХМ-М, ПРО БОЛЬШЕВИКОВ КТО-СЬ СЛЫХИВАЛ?!

– Про кого?

– Боль кака-т…

– БОЛЬ-ШЕ-ВИ-КОВ.

– И слово-т чудное!

– Чудное, да со смыслом, видать…

– Им больно, хилйна гнетёт, жить на светушке белом невмочь, да? Как и нама туточки? Да? Чё молчишь, Трофимуш-ка? Молвь!

– Намякни хуч…

– НЕ НАМЕКНУ ВСЮЮ ПРАВДУ БЕРИТЕ! БОЛВШИНСТВО ИХ, – НАС, ТО БИШВ, БА-ЛБШИ-НСТВО!! А ОТСЕДА И НАЗВАНИЕ ПОШЛО: БОЛВШЕВИКИ, МУЧЕНИКИ! ГОЛБІТББА… НУ! ЛЮД РАБОТНВІЙ И БЕСПОРТКОВВІЙ – ВОТ КТО МВІ ЕСТВ. ВСЕ КАК ОДИН. А ШТО, НЕ ТАКО РАЗИ? А ЕЖЛИ ТАК, ЕЖЛИ ТА-АК…

Из самого сердца Трофима, тихого, мудрого словно выпросталась и взошла надо ними, бедовыми, Истина многозначная… и зачалось-заколыхалось нечто в зыбке призрачной, не в сумерках уже, но в измерении особом, ином, в юдоли предвечной, высокой… – да, да, была то она, тая правда народная, выстраданная. Будто разжались кольца удушающие, спали оковы пудовищные, шагнула по-первой, но решительно и бесповоротно надеждушка в души христианские, православные… И как от гласа вещего, гласа божьего вздрогнули мужики…

– ЛЕНИН – ГЛАВНВІЙ БОЛВШЕВИК, НАШ С ВАМИ ИС-ТИННБІЙ ИИСУС.

– Так грят же, Бог терпел и нам велел? А? Трофим!

– Даже сына свово не пожалел, от креста не спас!..

– ИИСУС С КРЕСТА С МОЛВБОЙ К ОТЦУ НЕБЕСНОМУ ОБРАЩАЛСЯ, БОЛВШО, ХОЧА И ВЕДАЛ: ВОСКРЕСЕ! А МВІ НЕ ДЕТИ БОГУ, – РАБВІ БОЖВИ, ВО ОНО КАКО. СЛОВЦО-Т НИКУДА НЕ ДЕНЕШВ! ИЗ ОДНОЙ КЛЕТКИ, ДА НЕ РАВНВІ ДЕТКИ! ДА И НЕ КЛЕТКИ – ИЗ КЛЕТИ-ПОДКЛЕТИ МВІ!.. ЧТО БОГ? И ЕСТВ ЛИ ОН? А МВІ ТУТОЧКИ, ВОТ ОНИ!

УЖ КОЛИ БОГ С ВІН А ЕДИНОРОДНОГО НЕ СПАС, ТАК ДО НАС ЕМУ *НАПЛЕВАТЬ* ПОДАВНО.

В булыжной недвижности мужчин, в строгом, солидарном их молчании, в слитности эдакой, что зримо, плотно проступала скрозь кромешность сущеземную туго-крепко сдвинутыми плечами могучими, позами ажно скульптурными, выразительными, в чём-то ещё русском, родном, веющем, исходящем от них, прямо-таки выпирало наружу родство – родство братнее, неписаное, но имеющее место быть, единение подлинное, надолгое; печать гнева, скорбей и восторгов грядущих угадывалась на лицах, схороненных мглою фиолетовой поздней для завтрашних алых зарниц… Да-да, определённо была она, читалась, как с листа, эта чеканная, лиховая печать, выражение сложное, смешанное на обличьях-ликах, в положении тел, в общей воле праведной, святой по своему, по мужицкому канону… И уж вовсе не казалось, а действительно виделось: в немигающих, прикованных к открывшемуся свету Фаворскому, что в словах Бугрова сиял, глазах людей веслинских забитых кипела-клокотала, наливалась огнищей ответной всечеловеческая, единая, на алтарь Добра и Зла приносимая и в минуты сии самые нарождающаяся *клятва*: отмстить, растоптать, добыть и выложить на коленочки крохотные… За ради будущности, Счастия и Жизни… О, равенство, о, тепло любови, теплынь судьбинушки настоящей, не в дёгтях мазанной! Запрокинь голову: в провалах туч – звёзды, звёзды…

Сколько их? Кому достаётся блаженный ропот-свет из далей заколдованных? Нешто напрасно льётся-струит из глубин всетемных мерцающий ливень? И завтра, завтра же поутру, в который раз потопнет явь в жиже-грязи, пропадине, ась??? И вновь – мордолупы, издёвки, вновь голендуха, мор, сизифов пот казённого труда, боль, боль, БОЛЬ… БО-О-ЛЬ нылая, нескончаемая, поратая боль-за-глотуха. Доколе терпеть-та?!!

Шальной, чистый свежак – трепет крыл ветровых! – ворвался в Кандалу Старую, расколол-раскрошил прежние призраки и миражи, ошпарил судорогой. Тотчас обновилось кругом-вокруг. Ибо неистребима вера, вечна надежда, славна душа наша – твоя и моя. Из камня через боль-голь – к солнцу рукотворному к звёздонькам потихоньким-махоньким, за своею, синею, сирень путеводною! Всю жисть. Э-эх, слов не жалко русских, да токмо вот кабы по писаному получалось! Увы…

Забрехали псины на подворьях, тугой, нервной струной вдарил ветругана завыв – враз проснулся бор, прочухался, размять чтобы затёкшие рученьки-ноженьки, вволю нашу-меться да и вновь отойти – на боковую… Разлилось окрест сладчайшее медуниц жужжание – потревоженное напоследок и подвинулась к деревеньке ледяная, неугомонная журчайка Игринка, впадающая за горизонтами дремучими в Лену: вплела в стройный хор засыпающих голосов беззаботный свой. Неугасима, неувядаема жизнь! И такой огромадный, неразъёмный, противоречивый мир, ИХ МИР, цвёл, пел, дышал, заливался колокольчиками-цикадами, заглядывал в души, стучался в сердца… в бессонные человеческие сердечки и сердца падал с надзвёздных врат ли, из былиночек тутошних, из Бог весть чего ещё, то пульсирующего звонко-немо, то обмирающего позатайно… и такая несказанная благодать царила повсюду, заполняла поры, клеточки Бытия, что не по себе делалось как-то, что граничило это и с чудом, но и с кощунством сразу – ведь семьи Ивана Зарудного более не существовало. И тогда чёрный полог ночи с вкраплениями редких, одначе крупных, особенно дорогих звёзд стал будто бы чернее… и тогда жутко, скорбно прижалась к плоти животворящей мира вековечного тишина траурная, густая… и до утречка самого не пожелала расставаться с ним…

Что утро? Всё одно! Недаром молвится: хвали утро вечером, днём не сеченый! У Бога простор, а в людях теснота-а… И до утра ещё дожить надыть!

Голые, злые ветры не за семью горами-долами хлёстко рвали, теребили бубен тайги, но она стеной непролазной заступала дорогу им, не поддавалась напорам внезапным, берегла ЭТО МЕСТО… Зной вытек давно – вместе с угастими лучами изник и было даже как-то знобко, муторно сидеть на завалинке – поёживались мужики. Да и то правда: не столько от прохлады мурашки повыскакивали, сколь от нервного возбуждения, напряга, что ли…

– Погодье завтра – хуч аукай, хуч пали, но ужо раз стёжки да лазины поразмоет, то и заплутать – тьфу! Немудрено. Пиши пропало! Слышь, мошкары скока – сроилась, урчит-не угомонится, ядри-тя… Хватит, большо!

И, по заказу? утра не дождавшись, началось: сперва редко, словно раздумывая, с неохотцей, тяжёлыми, влажными бусинами, расползающимися по лицу, зябко за ворот стекающими, дробно зашелестела подстега, а потом, во вкус войдя, окатный хлынул дождище, вмял в землю, не просохшую от вчерашней мороси окаянной, и всю в подтёках грязных муравушку, затарабанил по крышам, окнам капелью пречистой, по лужицам, образовавшимся быстро, зачмокал нелепо… отозвался в бесконечности чернильной далей, самим же собою размытых, успокоение дарующих, ровным шумком, который единственно нарушил (в пределах, ему отпущенных!] печальную, горестную тишину… Шумком, будто выходящим наружу из диковинной, размеров необъятных морской раковины… И вдруг треснул мир надвое, чудовищно прорычал гром и из рокота этого – не наоборот! – выполз полоз огненный: задержалась дольше обычного молния вспышная.

Разбрелись по домам мужики, крепче прежнего пожав друг другу на прощевание руки. Опустел завалинок. Лишь одиноко, тускло догорал под кустиком чей-то недокурок – «бычок».

Вода ещё не попала на него, щадила, вот он и тлел, долго-долго, красновато, светло, изнутри озаряясь, в себе самом черпая силу, возвращая и волнуя память…

Наутро… Что наутро? Небо – заспанно серое, чахлое, глядеть не на что. Глянцевито, сочно вырастала в тумате рыхлой, по низу стелющейся, словно из тёса мокрого тайга – точёная, чернотная. Смачно чавкала под ичигами сляча… и только воздух, о-о, воздух поражал, пьянил студёной, духмяной благодатью! Его было много, больше обычного, взахлёб, он забивался, лез в ноздри, в грудь просился, потоком живительным, неохватным вливался в лёгкие… – дышите мною, люди-и! и такими же чистыми, звонкими будьте.

И хозяйка «надёжного» Тамара Глазова вывела обессиленного Ивана Зарудного на подворье – пущай «глонёт». Она уже вторую неделю прятала его у себя, жалеючи, выхаживала, разумеется, строго-настрого запретив старшому своему, Толяне, даже заикаться о том, что в «ихний» дом Трофим Бугров ночкой мутной-глухой варнака приволок – именно что приволок болезного. Затягиваться-не затягиваться, но кровянить перестали раны гордолюбивого бунтаря, недаром что «ведьма» за дело ейное взялась: окромя слов заветных, заклинаний всяких да зелий – бр-р! (в Старой Кандале Бугров-старший один знавал за Тамарочкой дар сей – колдовать-ворожить; дар, доставшийся «по наследству» от Акулины покойной – вот та оставила опосля себя тёмную память, смутную память… умирая же, передала умение своё, что-то таинственное, жуткое, Тамаре, тогда ещё в девках бегавшей…), окромя молитвочек истых пустила в ход травы-коренья целительные, отварами потчевала да настоями многолетними, набравшими силу живительную, словом, врачевала непревзойдённо, знахарка поневоле!

Перестали кровянить раны – не переставала болеть-кро-воточить душа: бредом-хрипом, мольбою отчаянной, матом-воем исходила-изнывала… чать, не лужёная, не сухая она – и любовь, и ненависть, и память с привкусом мяты, солоды, и зудящая болесть-скорбь, и мести жажда, самосуда, иссушающая, изнутряющая жажда-алчба. Хотя бы одну падаль раззолоченную в чёртов ад спровадить, ножищем покромсать медленно. Да жиивьём. Живьём, по живому-нежному чтоб! – нехай свиньёй на живодёрне повизжит гадина ентова, основная!!

На поправку шло. И всё бы ничего, да вот осечка досадная вышла.

Было:

Бродил Зарудный по двору на плечо крепкое Толяна опираючись, шаркал ступнями босыми по муравушке влажной, «зумрудной», а кто-то из кандалинских макаром случайным и заприметил беглого – гостя незнамого. Ну, кубыть, и подумал грешным толком: «От, бестия, мало ей троих, за четвёртого, доходягу! вплотную взялась!» Подумал без умысла злого, с юморочком даже… Но – сболтнул встречному-попе-речному… Вскорости проведала по телеграфу беспроводному обо всём том Шагаловых чета, ну и супружница, ужо знакомая нам Емилиана-то Аркадьевна, как водится, под реченьку напутственную муженька к миллионеру Горелову лыжи навострила. (Надо ль повторять, что новость сногсшибательную эту, присовокупи к ней женские прелести свои, отдать спешила в заклание – лишь бы миллионер по-прежнему благоволил к обоим, не пустил по ветру купчика-помещичка её, а чего там более в деятельности кипучей барина в наличии было, сам боженька не разберётся!]

Мол, «с женой ихнею, с Наталией Владимировной, в последний раз когда виделась? Запамятовала, гришь, ну, так ехай, ехай, да заодно от меня весточку с поклоном САМОМУ передай… Так и так… чту… блюду… А чтобы не слыть пустобрёхом, новостиночку присылаю… Да-с…» Знал, знал Шагалов: умастит Родиона Яковлевича вдвойне! Главное, чтоб под горячую руку не сунулась, дура-баба! А уж коль подвезёт, подфартит, то, глядишь, перепадёт ему ещё несколько времени пожить бесхлопотно, мошну битком набивая. Однозначно-^!] Знал и то, кто именно у Тамары-недотроги в доме с бухты-барахты объявился: имел свои глаза и уши во дворце гореловском в лице всё той же… Емилианы Аркадьевны, «шагалихи» своей! Вона ка-ак.

Не вспугнуть бы «гостечка» дорогого…

…Итак, Родион Яковлевич Горелов, сибирский первейший золотопромышленник, чьё богатство сказочное 200миллионную черту давно перевалило, узнал от одного из хо-луёв исправных, через бабёнку похотливую, что заклятый враг его, Зарудный, опять спасся, что в одной из веслин, и не в одной, шалишь, *а в той самой*\, в той самой, недалёкой, у некоей Тамары Викторовны Глазовой отлёживается-хоро-нится, не иначе как для новых пакостей силушку набирает… В той самой, да-а… Жители там всем скопом, почитай, поход за золотишком сообразили. Обдергай драные! Тогда меня не хватило, не додумался, как бы полютее покарать быдло, спустил с рук вольноотступничество доморощенное баб-мужиков. И вот – нате вам. Из-за кровавого гадёныша этого название веслинки дремучей опять на слуху. Чтож… Битому неймётся…

И выплюнул взбешённо слово-приказ…

Было:

На взмыленных верховых врезались в деревушку во главе с волостными «людями», с держимордой Ступовым, иными холуйчиками солдатушки бравые, ворвались в Тамарину избу, схватили Зарудного, связали и – волоком по грязюке, туда, где рыжеусому «унтеру» велено прилюдно Ивана-бегло-го изощрённо-люто казнить, «да побольней чтобы, до крику заполошного, слышишь?! Не то… А когда выполнишь, то лично мне, мне-е доложишь, минуя всяких там дармоедов, навроде полковничка твоего и ещё этого, как там его, Шагалова? ну, да, да, его, его, голубчика! Варежку раззявил – и куда глазел! Уж он у меня допрыгается, халявщик!»

Рассыпался по лесу топора стук, пилы визг – валили молодняк на виселицу. Стон, мат, лай, ржание, скрипы петель несмазанных, вязги, хряст, гул продырявили в решето тихоту глухоманную. Приклады, сапоги, копыта, команды, всхлипы, кашель, кряхтенье, вздохи… Сгоняли люд на мир, а коли мир заревёт – леса стогнут.

– Что буркала пялите? На дыбу вздёрнем, перемолем, да косточки пересчитаем, а уж потом да петелькой, петелькой-сс!!!

Захлёбывался Ступов, не ражий, так рыжий («рыжка-от-рыжка»!), унтеришко, в мечтах давно-о мнящий себя – ого-го! – впритирочку к полковнику Мяхнову самому главнокомандующему гореловскому и главному же гореловскому выпивохе. Ну да, не иначе! Одновременно Ступов деловито, озабоченно распоряжения нале-направо раздавал:

– Верёвку гони, олух царя небесного, та-ак, теперь брус, да, да и поживше, поживше! Другую, балда, верёвку-то, аль не захватили? Вот та-ак, так… А то по хибаркам прошвырнись, тама у их чего только не припасено! Да не сюды, не сюды, через тот конец перекидай, перекидай, дылда! Ну. А вы чего рты пораззявили? Копайте, ублюдково семя, время не ждёт, не ползёт!! Чё возитесь?

Губный староста, Кащин, маленький, аккуратненький, в чём-то макинтошистом, с баками на «аглицкий пижон», писарчуку тем часом наставления свои давал:

– Отпишешь ихнему сиятельству Родиону Яковлечу всё-всё и поминутно чтоб! Они после читать будут и радоваться, радоваться, что такого сволочугу урыли. Попил он кровушки у благодетеля и хозяина нашего, ну, да ничё-ё, ничё-ё… Скоро теперь… Смотри ж мне, чтоб кажинное слово, крик, хрип предсмертный запротоколировал, разумеешь? Крысина канцелярская! Нет? Не то сам в петле болтыхаться будешь.

Внезапно со стороны тракта новый раздался щум – на лоснящихся халтарых вынырнули из леса, из-за поворота, подле что, на вырубку смотрит, новые всадники – другой… третий… Шесть седоков. Второй приказ из города: не только Зарудного Ивана зверски замять, но в придачу и Томку Глазову, негодника приютившую, со всем ейным выводком, а также пару-тройку местных вусмерть избить, да пару-тройку халупок сжечь дотла. Глазовой же домишку – в первую голову. «Ничё, зато наперёд челядь посмирнее будет! Когда выблюд-ки малые (Толян с Прошкой!) окочурятся, издохнут, к мамке тела их покрепше привязать, а если кто из сердобольных сунется – всем несдобровать чтобы, всем худо творите!!»

Запричитали-заохали бабоньки, на колени попадали, истошно креститься стали. Взметнулись, планули молитвы творимые – к боженьке понеслись с земли обетованной, к боженьке всеблагому-всемилостивому, родимому нашему… Страстный хор-заклинание… Покачнулась Тамара – ушла с-под ноженек опора кака-никака… «Люди-и…» – неслышно, губами помертвелыми… Захолонуло в груди, сцепило дух, свело судорогой сердечко. Ни жива, ни мертва… Так и стояла, прижав правой рукой Прошку, левой – Толика, старшенького, он всё понял, но не заплакал почему-то, кулачки сжал, набычился… вырос словно… Так и стояла, приговорённая к закланию мадонна веслинская, которую выволокли на убой.

Унтер, получив страшный приказ новый, заулыбался, рявкнул:

– Слепов, Лужин!! Ко мне! – и матёро к Тамаре подался. Писарчук ожесточённее, вдохновеннее пером заелозил-зака-рябал.

Запечатлевал!!

3

– А-А-А-А!!!

Взрычала Тамара, из бесчувствия паморочного выйдя. Сорвалась с места – куда-а?! – ланью дикой с детушками бросилась, последний, смертный час зачуяв. К колоколу! к нему, что в нескольких шагах от неё низко располагался и тяжело, нелюдимо молчал покуда посреди Старой Кандалы… Привидением просочилась-юркнула Глазова к округлому холодно-чёрному боку чугунному, впилась в верёвку хваткой мёртвою – казалось, вот-вот влезет по ней на колпак, оттолкнётся ноженьками от подвески и на небо спасительное переберётся; казалось, оттуда, с облачка попутного, гибко свесится, руки вниз протянет, детушек обоих бережно-крепко приобнимет, в охапку сгребёт – и к себе… в небо-житницу обетованную, прихватит, из беды выручит, к груди прижмет поочередно, приласкает..; казалось, погрозит-приг-розит с высоты божественной пальцем и всё тут сладится, образуется, уляжется само собой… И по-прежнему жизнь идти-течь будет кругом замысловатым…

– Дитяток пощадите, ироды!

– У-у, нехристи окаянные!

– Отольются вам наши слёзоньки!

– Ничё, бабы, она ж ведьма, а ведьме что сдеется? Вона, вишь, за четвёртого принялась – со свету сживат-та!

– Дык умеючи, и ведьму бьют!

– Сыночков-то пошто?

– И-и-и…

Остановилось мгновение безобразное: Тамара с верёвкой от колокола, дети её, рядышком, люди и нелюди – чужие… свои…

Дёрнулась Тамарочка, словно пулей проткнутая, телом на плоть железную навалилась, вервие лихорадочно потянула, со страстью радостной даже… «БОМ-М!!» – надсадно, гулко, зловеще отозвалось било сердешное, не чугунное. «Б-бом…» – прощально-тихо, словно эхом, прозвучало-звукнуло и оба раза вздрагивала толпа, суеверно-слитно колыхалась, аки волна не прибившаяся к брегу, и не пятилась, будто одно живое сострадание.

– Что ж это такое?? А?!!

Повис над землёй и внезапно плоть-стать обрёл, зримостью налился, весомостью сущей душераздирающий чей-то вопль-глас.

Рыжеусищий, с ним трое, к Тамаре с ребятёнками просунулись, схватили, выворачивать руки начали… Детей от неё пихнули, причём с Толей повозюкались – малец не по летам силён оказался, цепок. Защищая детей, себя, она оцарапала физиономию «вашроди». Сапогом в пах получила, ойкнула, осела-сползла в полшаге от колокола. Помутилось в голове… Этого и

дожидались Слепов с Лужиным, справились с Толей, схватили Прошку, оторвали от мамы, но пацан, старшой, ухитрился вывернуться и зубами вгрызся в Лужина. Взвыл последний, наотмашь вмазал мальчугану по носу, присосался к полученной ране кровавой…

– Сучара! Я т-те покажу!! – Он был взбешён. Ладонь порвана и в кровищи вся, глаза навыкате, перематом воняет ртище скособоченный… – Вы-то как, вашбродь? А мне вот досталось! Кто б подумал, что гадёныш, сопля, на такое горазд…

– Ничё… Попляшут на пенькё-т. Помочатся!

– Толя, Толь!.. Прош…

Придя в себя от удара сапожищного, надрывалась Тамара – из сил неженских коленями, локтями упиралась, пальцами, до костяшек стёртыми уже, ногтями цеплялась за что попало, лишь бы подольше, поближе к детям быть, но её прочь, прочь тянули – на место лобное, где из очепа колодезного простейшую дыбу сварганили (долго ль?], где вколачивали последние гвозди в виселицу, что подле, на пару с дыбой, казотилась и где, наконец, в окружении нескольких солдат Иван Зарудный стоял, бледный, с глазами дьявола – своего смертного часа приближение вынужденно терпел.

Швырнули в лужу, рядом со столбиной, Тамарочку и Ступов, красный, взмокший, злой, щека в огне, принялся неистово трёххвосткой бедняжку пороть, сквозь ситец одёжки высекая, как искры длиннющие-влажные, кровавые полосы… С вожделением, ненормальным блеском в глазищах выпученных бил, разве что не с пеной у рта.

– Не её, – меня, меня забей, выродок! Меня-я!! Матке, маманьке твоей да деточкам-выблевкам не жить – тьфу! Не жить, сдохнут. Знай. Ха-ха-ха! Попомнишь словцо моё! Выползень вислобрылый! Дуроумок! Писька. Писюн сопливый. Пись-пись-писька ты! ХХ-ХХ-УУ…

И сильно-метко в Ступова харкнул, как раз на штаны попал, на причинное место. Унтер привзвизгнул аж. С людьми своими Шагалов подоспел, забоченясь, в сторонке соляным столпом застыл. Солдаты тем временем, выхватив из общей массы согнанных людей двоих, неказистых с виду мужичков, и, обречённых их, лупцевать принялись. Унтер, отерев плевок, подобрав губу нижнюю, схватившись за рыжую поросль на голове, отправился руководить – самолично! – поджёгом избушки Глазовой… гнёздышка вдовы нашей разне-счастненькой… Заодно решил дух перевести – притомился трёххвосткой махать, надо же паузу сделать, а то удовольствие будет коротеньким, жидким – неполным. Проходя мимо писарчука, не поленился через плечо в бумаги разложенные заглянуть:

– Ты того, гляди у меня, писать – пиши, да шоб с умом, не то… Пиши, ясное дело, подробно, только с умом!

– Да прослежу я, прослежу… – Рядом со столом Кащин ошивался, отчего ж голос не подать?

Штыками оттеснённые, как не напирали, но пробиться сквозь стальной режущий заслон к своим веслинские не могли – грудью натыкались на острия калёные будто: железо не просто жгло – шпарило до крови. Кандалинские пятились, тут же осточертело вперёд ломились… Тамаре, Зарудному помочь, детёнкам. И не помочь, а вырвать из объятий смерти надвигающейся… Но не в силах, не в состоянии были – напрасно на рожон пёрли, рожон благороднейший, солидарный. Тщетно, зря. Разрывались на части бабоньки с детьми, чьи мужчины под руку попали извергам и сейчас также на поляночке невеликой в грязюке пластались, избиваемые нещадно трёххвостками да кнутовьём. Неровной, нервной стеной стоял ор. Вскорости в какофонию дикую влился ещё один ручеё-чек – Прошечки жалостливый плач, плач тонкий, режущий слух, будто журавушки клик невыносимый… Говорилось уже: обоих детей Тамариных сюда ж примыкали, одначе забивать сразу не стали – не интересно сразу-то! Слепов (он за шкирку Прошку держал, Толян в тисках Лужина извивался, всё порывался вдругорядь укусить кисть лохматую, не выходило, больно здоров был хват, силён на расправу, второй раз бдил в оба!), Слепов в какое-то мгновение пронзительное ужаснулся тому, что творит, ведая!.. И –

мелкой дрожью осиново задрожал… Беспомощно, близоруко зыркнул глазёнками в направлении, куда Ступов подался, где, по мнению холуйчика, сейчас быть должон. «Чевой-то возются с домишкой?» – подумал. Ему окрика командирского до зарезу не хватало.

Через минуту-другую унтер и нарисовался, как по заказу – огненноусый, радый тому, что так гладко приказание миллионера «сполняется». То, что харканул Зарудный в него, по рассуждению последующему, Ступова даже позабавило. «Я т-тя, милок, перед повешеньем таким пыткам предам, что у писарчука нашего глаза на лоб повылазят!»

– Никак меня ждёшь, сволочуга? – издали, завидев едва Слепова, Лужина, других помощничков бравых, что под ружьём, при исполнении, бишь, находились, и конкретно ни к одному из них не обращаясь, заорал. – Удави чертеняку, только не сразу, не сразу, а помаленьку! Чтоб визжал, обмочился, дёргался… Н-ну!!!

И тут Зарудный, улучив момент, набрав побольше воздуха, быстро пригнулся, схватил с земли каменяку увесистую (благо на миг какой-то державшие его ослабили хватку] и запустил ею в Ступова:

– Н-на!!

Крякнул ещё, подобрал опять что-то, полотьё не полотьё, вновь размахнулся… Пример был подан и вот уже град камней-комлей, всё-всё, что под рукой оказалось, посыпалось на головы солдат, волостных, писаря, самого Ступова, который от внезапности сей и плеть выронил, с коей не расставался. Писарчуку пенсне – вдребезги, старосте Кащину – прямо в зубы угодило… Мужики, бабы, подростки спешно кто чем вооружались: ломами, топорами, лопатами-граблями, кольями; булыжнички поувесистей за пазухой припасали. Народ, большинство стали понемногу теснить частокол штыкастый, ощерившийся, верх брать.

– Кончайте их, ну! Живее ж!! ЩАС ПРЯМО!!!

Аж изошёл криком Ступов, истерично затрясся – только что предвкушал, поживу словно, зрелище мук Зарудного и вдруг нате вам – облом. Того и гляди толпа озверевшая набросится, впору ноги уносить! Стоя в окружении преданно-раболепной солдатни (из лучших отобрал!] порывался ещё повелевать, но зелень, проступившая на рыжеватой от усов залихватских физиономии, пот холодный выдавали страх, ненависть, загнанность. Ничуть не лучше, кстати, и Кащин выглядел – взъерошенный, сам не свой. Что до писаря, тот без гляделок вообще потух – то сидел важно, петухом, а сейчас метался взад-вперёд, не находя укрытия ни за спинами солдат, ни где бы то ни было вовсе. Творилось невообразимое. И Ступов однако сделал героическое, на его взгляд, волевое усилие, дабы покончить с бедламом. Перекрывая общий рёв, зафальцетил отчаянно:

– …Я КАМУ СКАЗАЛ, ВЕШАТЬ?! СНАЧАЛА ЕГО, ЭТАГО!! – Чуть не взбрыкивал, слюной брызгал… – ДА БРОСЬТЕ ДЫБУ, ХРЕН БЫ С НЕЙ, В ПЕТЛЮ, В ПЕТЛЮ СРАЗУ!! НУ!!!

Иван боролся, но солдаты двинули пару раз прикладами по почкам. Невозможная боль скрутила всего, головушка – долу, сам обмяк, руки, как плети, провисли… Ему мигом заарканили шею – под намыленным ужищем нервно заходил небритый острый кадык.

Со всего неба огромного тишина рухнула на землю, вжала в неё, зримо, грубо вдавила кровавую, майданную эту толчею, оборвав на предроковой, на высшей! ноте мольбы-заклинания, ропот, возгласы бунтарские, перемат сочный-гневный; она, немота свалившаяся, как бы перехватила жгутом невидимым гул-зык – и задохся ор. И выразительнее, значительнее сделались штрихи обычные, мазки общие, допрежь незначащие силуэты, контуры, линии, отдельные детали… Наконец, в целом! обострилась панорама, картина происходящего, стала чётче, яростнее… До жилочки, вздувшейся на лице каинском, до глазищ, базедово вылезших, до волосиночки, с другою такой же спутавшейся и приклеившейся к горячей, в поту, коже… И только жадно, беспощадно пожирал халупку Тамарину огонь – трещало ожесточённо, весело и дико, холодно до зноби, до безумия… всё слышней, слышней… Скулили-выли затравленно

собаки, подчёркивая тишину, не нарушая, но именно оттеняя безмолвие, беззвучие грянувшее…

– ВАА-А-АНЬ!!!

Истошный взорвался вопль.

Словно бичом стегануло – сразу же, после заполошного, Тамаре принадлежащего, «ВА-АНЬ!» и стегануло, да так хлёстко, жёстко… лягнуло буквально по миру, что осадило воздух самый, плотный, подлый воздух; это раздался сухой, отчётливый щелчок, грубо вспорол давящую, свалившуюся ниоткуда(?!] тишину… и вздрогнул люд земной, здесь оказавшийся, хороший, бедовый – и вызверившийся. Вздрогнули все. Но особливо шибко Лужин дёрнулся, переломился в пояснице, нелепо засучил руками, замер… грузно в грязь толчёную тюкнулся, в метре от Глазовой, которую лупцевал нещадно до сего незадолго. На казённой его робе, под левой лопаткой, сочно, густо закровавело с кулак добрый пятно.

И ещё, ещё хлестали выстрелы. Слепова – наповал, того солдата, который собирался из-под ног Зарудного табурет выбить – наповал…

– Никак опять Трофим?

– Беги! Беги!!

– А вы тут – помирать??? Ну, уж не-ет…

– Да беги, говорят тебе! Из-за тебя буча! Ну, же, миленький!.. А мы как-ни́будь… Беги… Помни!!

– Нет!!! – И бросился на солдат-солдатушек, салажат ещё: кучковались, от страха совсем головы потеряли.

Откуда силы взялись в измочаленном теле?!

Но и Тамара, не промах будь, рванула следом, вцепилась в Ивана:

– Каке слова тебе ещё нужны!!! Бегижжж!!!

Кто-то из бугаёв в форме под руку подвернулся, изловчился было цапнуть Зарудного, но – наотмашь в челюсть получил, скопытился. Тамара тем часом к детям бросилась…

– Беги, беги… – отовсюду, вразнобой, в сердцах… – БЕГИ.

Внял Иван. Кинулся в сторону леса… Петляя. Прихрамывая.

Всё. Чуть-чуть осталось – вот она, темна зелень пахучая, долгожданное спасение, обитель таёжная…

Паника среди солдат нарастала. Угорело-загнанно метались они, падали, сражённые из дробнйков, пока, очухавшись, сориентировавшись, не вломились в одну из ближайших домин, где действительно засели Бугровы – Трофим и сыновья. Всех пятерых после свалки шумной, когда кулачили друг друга не на жизнь, а на смерть, наружу повытаскивали-повыталкивали, ружья-самопалы отобрали, связали живо да накрепко. Одного не ведали: у Бугрова-старшего пять сынов было…

– Шагалова теремина горит!! Ипат… – сверлящий вскрик – Ипатушка это!

– Молчь, сука! Бог всё видит!

Перекрыл рёв, гвалт нескончаемый Трофим. Глаза сёга-да прожигали огнем праведным, радостным, испепеляющим в гневе.

– Дык он и заложил, большо, падлюка! – Степана гортанный басок. – А вот за какем-такем лешим?! Ась? Ишшо один неверии по головы наши!

Речь шла об Аникине-старшем, который, на поверочку вышло, не токмо под настойку лишку болтал, но и на трезвяк – язычком звяк! Встречаются же натуры! (Уж не он ли и Зарудного на подворье Тамарином заприметил, да по бел-свету разнёс сорокой бесхвостой? Как мыслишь, читатель?)

…С другого конца веслинки чёрный дымище валом валил, круто вгору вползал-забирался и, рыхлясь, на клубы-лохмотья распадаясь, отлетал тягуче… долго… отлететь не мог за частокол сплошной, боровый, что начинался в двухстах с гачком саженях от места, где и про-

исходили описываемые события. Два чадных удава, два дыма столбинами неотвратимо тянулись через небо пологое-полое, не пересекаясь, словно два пути в преисподнюю (одного, что ль, мало!) и тем самым перечёркивая рай на небеси, отторгая от старокандалинских рай этот с манной небесной и было до жути странно, завораживающе глазеть *туда,* задрав головы, – предвещали беду великую. Тянулись к горлу с обох сторонушек – не деться никуда. Пусто болталась петля, зловеще, некормлено стыла дыба, крепчал ветр, всё резче, рванее становился, волчьим подвывом знобил-добивал…

И казалось: несут порывы шквальные в нутре своём, таят в себе угрозу немалую… неведомую…

Пусто, голо и пусто в душах мужиков, баб, чуяли как один: конец это. Заледенело, вкопанно стыли бедолаги, детушки малые приумолкли, канючить-хныкать перестали… Брошенно и обречённо каждый, каждая на пятачке своём в землю вростал, не иначе привыкая к ней, загодя готовясь в неё, мать-сыру, и сойтить… навек; брошенно и обречённо – на произвол судьбы брошенно, на кару гибельну обречённо. Двумя чёрными подтёками рыдало понад ними помятое серое небово и ни одна тучечка, ни порыв едный ветрища волглого не в состоянии были сокрыть-стереть полосы тушевые – будто до срока выпросталась из пор-отдушин-фибров земных перечеловеченная боль Старой Кандалы. Копилась, копилась в недрах незримых – и нате вам… чернёина аки…

Вскочил на красавца-гнедого староста – только его и видали! Шагалов заплетающимися шагами побрёл было к хоромам полыхающим своим, но остановился, на корточки присел, по нужде вроде, ни с того ни с сего взял да и присел – чумной, пьяненький… запел юродиво:

– Тама… тама… манатАчка каждая… добро роднёхонькое, нажитое… А мужик – дотла… Сжёг. Спалил… И-и-и… – лихоматом тонюсенько сам себя потетёшкивал, жалеючи, страдая!

Оставшись с одним только Ступовым, который также поостыл, солдаты сгруппировались вкруг последнего, переминаться с ноги на ногу принялись, зенки тупя. Короткое затишье надвинулось, воцарило… И этим нужно было воспользоваться. Связанный Бугров хорошо понимал: до прибытия новых, свежих сил из города важно разоружить горстку солдатиков, после чего быстро-быстро всем миром в тайгу уходить. Глядишь, схоронятся, добредут до приличного места, обоснуются там, наподобие поселенцев каких! Сколько в лесах сибирских затеряно-поразбросано заимок, веслин, скитов, домишечек разных там кущников – ни слухом ни духом про то большинству и неведомо. «Мнда-а… токмо и выживем, не то – худо дело», тумкал Трофим. И тумкал недолго.

– Ждать будем, али как, народ?

Шагнул, к солдатушкам, хотя рядом стоял… сыновья дружно – за ним. Вояки попятились, но ружья не опустили. Хоть решимости поубавилось, одначе разумели: время работает на нас, главное – линию свою до конца гнуть. То бишь, удерживать простолюдинов на расстоянии. Даже Бугровых – в первую голову Бугровых.

– НИАЗА-А-АТ… – промычал Ступов.

И всё же момент нужно было использовать на все двести. Бугров знал: более подходящего случая не предвидится.

Второ-ой шаг сделал…

Выстрел грохнул коротко, резко. Трофим схватился за предплечье, на колени упал, косо заваливаться стал… Сродные подхватили, прикрыли телами, женщины тотчас бросились было рану перевязать…

– Суньтесь токмо – м-мы вассс!

– Дык таке ж люди, большо! Аль не можно поладить, миром решить?

– Р-разговоры!!

…Так и стояли друг супротив друга – две стены, два народа под одной крышей русской, нонче, видать, не шибко-то голубой… Чуть обособленно, странно смотрелись Бугровы – вроде и пленные, и не пленные…

В пятнадцати с небольшим верстах от Старой Кандалы, на берегу большой реки, в городе, находился гореловский дворец, усадьбы да имения богатеев разных – само поселение возникло в середине позапрошлого столетия, когда предприимчивые, деловые за Сибирь вплотную взялись, осваивать богатства края капиталистически бурно принялись. Заводишки, мануфактуры, церковочки, казармы военные, порт, мытный двор, торговые ряды, места присутственные, а к сему иное что положено – это всё опосля пошло-поеха-ло. Попервой-то срубы да срубы, что попроще, значит… пристанька… дальше – больше: острожек… городец… Рос себе, рос… получил управление питерское..; с обнаружением злата, алмазов разрослись не на шутку Ярки, в камень приоделись, на глазах преобразились! Но будто ждали твёрдой, хозяйской руки, чтобы вровень с европейскими гранд-столицами взойти, собственными перлами засверкать. И Родион Яковлевич Горелов пришёлся Яркам ко двору. Двух лет не минуло с тех пор, как объявился он на берегах большой реки, а уже всё здесь ему принадлежало. Всем тут самолично заправлял. Работный люд, печищане с веслин окрестных, якуты разные зажаты были им в клещи-тиски, а те, кто мало-мальскую деньгу зашибал (навроде Шагалова], лебезили-заискивали перед хозяином властным, разорения смертно боялись, хотя умишком сознавали: средний класс, эдакая прослойка, должна обязательно быть-существовать между Гореловым и голоштанниками. Отличался Родион Яковлевич не только организаторской жилкой и волевым напором с фартом несомненным, но и норовом звериным. На молодиц падок был, да и «шагалихами» не брезговал-не гнушался. Звёзд с неба не хватал, но под себя грёб и залежалость копеечную, и рубь длинный-кажинный – мелочишкой да чистоганом брал! Дворец, всем дворцам дворец, воздвиг в сроки кратчайшие… Банкиров понасажал – а они и сами рады были на готовенькое слететься!

Туда, в Ярки, и помчал староста Кащин, личность в высшей степени трусоватая и продажная – велеречиво о случившемся Горелову доложить, при этом в свете наиприглядне йшем предстать пред очи хозяйские, дабы тот не отпетеряжил холуйчика (за что?., вот, мол, вырвался с боем от бунтовщиков, ваше сиятельство предупредить-ссс!..), а напротив, заметочку на его счёт сделал. Главное – рохлю Шагалова да мужака Ступова опередить, опередить…

– Забить всех. Вусмерть. Бери сколько хочешь солдат, Мяхнова только в известность поставь – он, поди, опять на бровях, соколик! Допьётся у меня. Дожрётся, гадёна-вошь… Хмм, ишь, деревня! Справишься, в гору пойдёшь. Отблагодарю алмазно. Чтобы все трупы – в тайгу, нехай зверинки налюдуются. Зарудного обложить, как медведя в берлоге, далеко в лес не сунется! Сыскать беглого непременно! Найти – и ко мне, живым, чтобы ни волосиночки с него, слышишь? Я с ним туточки изъяснюсь. Давно уже руки чешутся. Главное, староста, быстро голь эту изничтожить, иначе волнение на прииски перекинется. Правда, там везде полно моих людей. В крайнем случае, запоминай! и приисковых под нож пустить. От греха подальше. Работа есть – и руки будут. Не упусти случай, сполна шанс свой используй! Теперь насчёт Мяхнова… Найди его, сюда покличь. Ежели лыка не вяжет командирчик наш, не трогай, дай проспаться, в человеческое состояние прийти. Оставь, словом… Я с ним также изъяснюсь туточки, здесь прямо… Уж задам перцу! Всё, приглянулся ты мне. Над многими возвышу! Ступай.

Дверь за Кащиным тихонечко закрылась. (Вхож в покои дворцовые потому был староста, что во дни-недели-месяцы первые становления гореловского на земле сибирской услуги разные Хозяину предлагал-оказывал.) Родион Яковлевич, один оставшись, подошёл к огромному, в треть стены, зеркалу в раме из дерева красного с резьбой фантастической (разумеется, ручной работы одного из самородков местных), всмотрелся в изображение собственное, хмуро, исподлобья вгляделся, сказал, к нему, к отражению, адресуясь:

– Всех вас к ногтю, гадёнышей… попляшете! «Приглянулся»!» Да я тебя, Кащин, первым сгною. На пару с Мяхновым.

Зарудный – тот личность. А вы – сопли размазанные! И цена вам – ломаный грошак!

Клокотало в груди, – сжал кулаки, набычился. Изучал себя в зеркале. Таким вот – злым, взбешённым. Резко отвернулся, к письменному столу стремительно шагнул, схватил было колокольчик серебрёный с узорочьем затейливо-винь-еточным, на восточный манер, но тут же обратно поставил. «А что, собственно, случилось? Подумаешь, какой-то мужак вшивый заартачился! Чего это я паникую? Ни фига он не видел там… А если и видел, то кто поверит ему? Кто супротив меня пойдёт?! Да таких мои столбовые и волостные за шкирку!.. Приказ на случай этот имеется. Так что, мил-человек, Родион Яковлич, Родечка! угомонись… отдышись-ка…» Потом, улыбнувшись невесть чему, затряс колокольчиком:

– Где вы там, овцы паршивые?! Чтоб вам повылазило!!

…Был полдень, второй день седмицы, лёгкий и сухой. С севера неотвратимой стеной шла смерть – ломился буревал. И падала ниц тайга, корчилось, разверзалось суземье, зияя хаосом, пустотой валежинной, что заместо ели сибирской, кедра матёрого, сосны мачтовой, лиственниц девственных… Ураганище вбил клин в седое бездонье неба – синюшную отметину, разодрал в клочья хляби небесные, пяди земные, с треском-грохотом оглоушными далее, на юг, помчал, почти вдоль самой Лены-реки, сея ужас, разя наповал живое всё. Тысячи тысяч стволов неохватных были с корнями вырваны-выкорчеваны, ещё большее число их просто у подножий сломлено, в аккурат у землицы задернелой, расколото, согнуто в дугу, отброшено прочь, вон… Прокатилась, прогромыхала колесница Зевсова, чудище адово!! Пролегла широкая по меркам людским борозда на темечке шарика земного. Подобные катаклизмы бывают раз-два в тыщи лет и обчёлся, но память о них заронена в душу земную-народную на веки аредовы… Мифом, сказкой, легендою кочуют из поколения в поколение.

Только что это для океана зелёного – так, пустяшное дело… Девятый вал разъединственный – медведю царапина! По-прежнему незыблема и грозна разлатая грудь тайги, как встарь, стойко врастает она в кормилицу-матушку плодоносную и, непреклонная силенной силушкой, буйно шелестит, глубоко дышит, подпевает хорами вольными калмыцким степям ли, арктическим льдам затундровым… кладезь грядущих семян, опахало изумрудное планеты.

…Били Трофима Бугрова, пятерых сыновей и всех внуков его, Тамару и Евсея Глазовых, жену Евсея – Мотрю, других детушек… Детушек били, Толю и Прошку в том числе. Били Егора Перебейноса, «Фому-зэмэлю» и Марью Аникину, также её отца языкатого да маманьку ейную бледнёхонькую… Степана Бакалина, прочих баб и мужиков Старой Кандалы… Хлыстами, батогами, шомполами, ремнями сыромятными, длинниками и трёххвостками били – методично, с вожделением одни, исступлённо, в страхе, с отвращением – другие, но били, били, били, БИЛИ, ПОД НЕРУССКИМ НЕБОМ КАК БУДТО!! И срывался колокол, и опять на место заказанное возвращался… дрожал, живою, лихорадочной дрожью дрожал чугун, но не «БОМ-М!», «БОМ-М!!», а издыхающе-тихим и при каждом новом взмахе рук истязающих, при каждом ударе новом всё более захлёбывающимся звуком-вызвяком мрущем… Колоколец то! Ему не меньше людей от ненависти алгимеев доставалось.

Дымились в два столба дотла, до исподу сгоревшие усадьба Шагалова (с махоньким прудиком, кстати!] и Тамарино гнёздышко. Крепчал-суровел не на шутку ветер и подвывали – спроста ль?! – собаки ему, вымали души в-воем замогильным. Хрип, стон-стенание, плач, визг, чьё-то задушенное, костью в горле встрявшее «ммм-амм-ммм-аа…», всхлипывающий беспомощно-стыдливо нечеловеческий уже бас и нечеловеческие такие же вопли-зыки… истеричный смех сошедшей с ума от боли острой молодайки, кинжально-вспарывающий живодёрный гамище команд хлысснутых, рёв, не иначе, беременной женщины, прикрывающей руками огромный живот, где несколько минут назад ножками-ручками толкалась жизнь зарождённая, и давно отрыдавшей безутешно по загубленному плоду во чреве… грубые выкрики-матю-галь-

ники тех, кто ещё из последних сил держался-цеплялся за крохи сознания, за белый ли свет сей… сбивчивый, тяжкий шёпот в лад-невпопад творимых молитв-заклинаний, ритмичные покряхтывания взопревших от усердия солдат (коим самим противно было и посему негласно промеж себя порешили: скорее, быстрее *добитъИ*)… хлюпанье сапожищ в сляче, затухающий треск-огнь головень остатних – догорающих строений деревянных Шагалова и Глазовой… скриплом-гуд нарастающие тайги под буреломом, наконец, заходящийся! приближающийся плашмя? в рост? и сам он, ветровалище судный-то… Г-ГОС-ПАДИ-ИИ!!! – и над ЭТИМ вдруг пробкой выскочило из-за стрех тучевины (градовой нешто?), воссияло монетиной клятой золотинное солнце, самодовольное, непогрешимое, гордое и смачное солнышко, вылупилось на земной грех-срам, опрокинуло ковш светоносный, дабы чётче, резче, лучше было изгаляться и ныть, уворачиваться от побоев – и шомполами стегать, чтобы спячивал с ума род пилигримов, нехристей, нерабов – навек. Красотища-та-а!!! Лучись, играй, пой, кровавая карамболь!

Иван Зарудный, не обнаруженный в кедровнике, всё-всё примечал, в сердце своём запирал до поры.

Свирепел шквальный ветр…

В грязи уродливо, в позах безобразных, неестественных, бескостных! живые копошились трупы и трупики будущие, конвульсивно, судорожно, мешкотно, как ещё?! шевелились в такт взмахам-вжикам – сплошное кровавое месиво, кровавая мокредь. Вперемешку с телами безжизненными уже, холоднеющими лежали те, кто повыносливее, посильнее был, лежали и прикрывались инстинктивно труповой рукой-ногой: мёртвый боли не имет! Прикрывались сами, также прикрывали детей, живых ещё, в крови, в слезах, но живых, живых! – вот что главное; этими самыми трупами, тщетно, на что надеясь? детушек заслоняли, дабы выиграть времечко… Ну, и своими телами, если до мертвяка не дотянуться было, ежели сапог солдатский отшвыривал прочь тело чужое. Словно глас свыше, словно перст указующий ТАК повелел-присоветовал… Хотя находились и другие, кто умопомешанно, озверело душили более слабых, детей в первую очередь, лишь бы они, безвинные, не терпели муку адову.

Всё это БЫЛО.

…Тамарочка Глазова распято кончалась. Ушла в землю, на которой лежала, корчилась поначалу бедняженька она, её от и до ломающая, потрошащая плоть-душу болл-ль. Запрокинулись в небовысь оченьки невидящие, косматились спутанно, в жиже-мазеве извазюканные, некогда роскошнодлинные власы, нервно подёргивались пальцы рук и, коверканно зияя провалом рта, давая выход последним крохам жизни, остаточкам сознания, впечатывался-твердел на выдохе хриплом, по маске лица растекался-расползался прощальный узор уже не только одиночеством запекшихся вдовьих губ. Гримаса мяклая, землисто-пергаментная – выворотъ, да и только. Недавно было больно: сил не хватало терпеть! Но она лишь меньшого своего обнимала, собою, как могла, прикрывала, а потом, когда сапог чей-то отпихнул Прошень-ку, звала, звала… вголос, вголос… и тише, слабже… слабенько так… слышно еле… а затем и вообще – про себя, мысленно, хотя думала, что кричит, что криком допомогает ему удержаться душой ангельской на свете замаранном, что вот-вот кончится порка массовая и все разойдутся по домам, а она с детками выжившими к себе покандыбает… очаг спалили? ну, так и что? не беда… отстроим новый… ничего… люди не дадут пропасть… Тамара сходила с ума, теряла способность рассуждать здраво, мысли её скакали и копытами слов дубасили изнутри… Иногда находило просветление краткое и тогда она заведённо цеплялась за одно-единственное: «Толичек…», «Прошка!», «Толичек!», «Прошка…» Вторым «Я» своим твердила молитвочку простейшую, но жаркую, буйную и, казалось ей, слушанную ими… Страстным наложением на ткань молитвы той были слова обращения материнского к сыночкам. Проклятия нахлынули внезапно, с неба взялись, когда закачались на ветру взбесившемся верхушки дерев. 0-о! такую радость душе принесли *проклятия*!! Проклятия, в которые вонзился страшенный женский мат. И сгинули мольбы-заклинания. Хула богданному!! Вдруг – небо… Ближе, ближе… Она вхо-

дила в небо!!! Голубизна нежно ракрылилась над нею, зашелестела хоругвями, брызнула бельмами огненными, укачала неволной упругой. Она же… не входила – вползала, на карачках! в него, вступала-не вступала с колокола верного, надёжного… вжималась в небо рассинее, в небеси… нет!! – впихивалась в землю, в смерть. А может, ни земли, ни неба вообще не существует… Не существует ни жизни, ни смерти, ни прошлого, ни будущего… Тамара распадалась на части… смрадно, безглазо, тупо вновь надвинулась боль. Стиснула, перемолола плоть в жерновах, сжала-а… вхруст! мозг… Тени-круги одне, моченьки нет перенесть пытку… Остановись, взмах! Пощади, плеть! Вжик! вжик! вжик… – разяще косила Старуха косой отбитой. Знатные нынче покосы!..Что это??? Вжик… вжик… жик…

– ГОССПОДИИИИИ, ПАМИЛЛЛЛУЙ… памил-л-л-у-уй… памилл… госсп… – осеклась.

Всё. Ушла боль. Память ушла. В землю, в небушко, в смерть.

«Почему кончилось небо?»

«В могиле я???»

«М-мма-амм…»

Это не она вспомнила мамочку свою – скрозь смертный сон додолбился до нутра выскобленного её Толин голосочек. Сама же она так и не вспомнила маму свою – некогда, не до того было…

Сама она уже и не мать, а мертвец… *почти*… Но перед тем, как отойти, ощутила чувством незнаемым зов старшенького, материнским вечным чутьём распознала…

– Потерпи…

С верою, что выдержит старшенький…

– ССССУКИ!!!!! Б!!..

Таки не выдержал… Зарудный. Тигром ворвался в круг страшный, лесиною сучковатой сшиб первого попавшегося молодого солдатика, под руку некстати подвернувшегося, с чинушей каким-то сцепился, сбил с ног… руками потянулся к горлу ближайшего выродка:

– Падло! упадь!!

…Зубы в скрежет, глаза навыкате, налились, не человек – возмездие само! Клещи сомкнул… до хрипа выслюнявленного из глотки стиснутой. Так и держал нёлюда, ногтями впиваясь сладостно в кожу, будто содрать намеревался шкуру-то… шейные позвонки выщупывая радостно… хмельно аж выщупывая… держал хваткой неразъёмною, исступлённо, победительно держал! Пока чтой-то там не вытекло из штанин… Тот смяк, язык вывалился…

И вздёрнул руки Иван…

– Л-люди!!!

В мощь кузнечную лёгких заорал…

На солдат – не всех – вдруг нашло прозрение: опустили долу «инструменты», двое-трое блевать от содеянного ими же, от увиденного в лучах ярчайших стали – надсадно, давясь клокотаньем, багровея с лица…

– ОПОМНИТЕСЬ!!!!! – и рухнул наземь, выстонал:

– З-зверррръё.

Ходуном-ходенем закачалось… Расступилась тайга – гремучая бездна за ней… ломыхается, в дых-грудь наповал…

А ПОТОМ НАЛЕТЕЛ БУРЕЛОМ. Беспощадно, мстительно, грозно! Разметал в клочья клочьё, деревеньку, дыбу, виселицу – по бревну-доске, как по щепочке, разодрал, громнул в уши до перепонок самыих, выпил нотищу из нутра «своо», в колокол сплеча шандарахнул… тот с насеста своего соскочил аж, по земле родимой наотмашь, аки по крышке гроба вселюдового… сам же дале, на юг, помчал… Покатился было следом чугунище сорванный, с боемдребезжанием покатился… ухабами, валежничком… но не хватило силушки-прыти, иссякла силушка! – и тогда замер на отшибе, раструбом к веслинке бывшей, к людям, кои в живых

остались. А таковых – по пальцам сосчитать. Те, кто до кровинушки последней, до издыхания страшного за жизнь битву продолжал, пусть и валяясь на кровозёме, – те только и выжили, ибо всё, что на полметра-метр хотя бы возвышалось, бурелом язычищем слизнул.

Захлебнулся тишиною свет, обнемело враз…

Бельмом синим полыхало-жгло… вытянутым длинно, пробившимся сквозь застень войлочную бельмищем ока всевидящего разъедало…

Унялась дрожь мира предвозвестная, кои псы чуяли, равно как смертей многих нашествие…

Как будто и не было ничего!

Вообще – НИЧЕГО.

…Грузно, медленно, друг другу руки подавая, поддерживая ближнего, подымались старокандалинские, горсточка чудом-юдом «обласканная», несколько сирот и калек. Кровавый булыжник под свинчаткой в рост пошёл! Матёро, зримо, несокрушимо в горюшке – Толя Глазов был в их числе: сперва Трофим Бугров, а потом, когда Трофима забили, брат Тамарин Евсей телами своими маленько, но прикрывали пацана, дыхание ему сберегли… Прошка – тот давно уже помертвело коченел в грязюке, куклёнком поломатым валялся.

Наизнанку, наизворот, на безогляд весь пустошь зияла – бурелома печать. Лентой широченной от горизонта до горизонта и дальше разрубала пополам бел-свет, тайгу, что тысячествольно облапила, облепила-обкряжила с обеих сторон эту столбовую в никуда стезину пластом. Повыворочено, поколото, покрошено-искромсано – жуть! Ни двора, ни кола! Ни Зацепины глазу, ни отдушины сердцу! Ни-че-го-шень-ки. Расшвырено, разодрано кругом.

С проткнутыми (пиками словно) насквозь животами шагах в сорока… да и рядом, впрочем, вот, под рукой буквально, в позах неестественных – солдаты, штатская сволочь разная; ещё несколько трупов обтыкали здоровнющий кедр – устоял, брат, в штормину заайвазовскую – неокеанскую! – из спин, боков, бёдер, пахов торчали таким же образом коряги, сучья, похожие на кости… кстати, настоящие кости также имелись-серели – из ран, рвани телесной наружу продирались, в струпьях, в крови-мясе; то тут, то там, изувеченные, с пеной красной на мордах, подёргивались конвульсивно лошади – сёдла съехали на бок, сёдел нет, крупы стёсаны будто; в нескольких местах, куда попадали головни, раздутые напором воздушным, занимались ростки полымей, но не огневели, не сухо потрескивали, а тотчас рыжели, чернели, ибо мокро-сыро повсюду после дождичка не в четверг… оттого и гасли с шипением змеиным, ядным… придавленно, понуро смотрел колокол без опор привычных – языком вываливалось из зёва распахнутого било, словно колпак тужился сказать людям что-то важное, да уже не мог – выжгли, вытравили до дондышка железную волю его.

Подслеповато блестела высокая трава – не зелёная, не изумрудно-сочная – бесцветно-тёмная, либо от крови бурая. На ней, не то взлохмаченной, не то, наоборот, буреломом расчёсанной (там, где не кошена была!), появились и непривычно в глаза кидались странные совершенно, новые, посторонние вещи, предметы, занесённые сюда из иных далей: вперемешку со «своими» развалинами, руинами, на раздолбанном фоне их эти редкие, посеянные сверху обломки труб, изгородей, куски штукатурки и даже битые стёкла, не говоря о чужих всмятку петухах с насестов, да кошках-собаках, шм-мякнутых оземь, гляделись дико, несуразно. Чужеродно. А вот собственного, за что мог бы зацепиться взорушко очий, как раз и осталось, почитай, ничего – Бог весть, куда отсель зашвырнуло! Родимыми являлись блёклые, заштрихованные будто, залысины подворий без частоколов, поленниц, также – вырубка. Странно: в первые минуты «прогалины» сии также казались будто занесёнными – откель?! – ибо не просто растворялись в общем хаосе пустоты народившейся, но обрушились буквально громом среди ясного неба, не вписались в привычные виды, картинки знакомые-милые. Плюс – веяло от них замогильным… Последнее обстоятельство являлось решающим и создавало атмосферу напряжённой тоскотищи… скорби… Что груды, кучи, земля развороченная корнями

выкорчеванными? Вот трупы сродных: матерей-жён, дедов-отцов, братанов-сеструх, деток замученных! Мусор – он мусор и есть! Здесь же другое… Подобного никто никогда не видел. Потому оторопь брала.

А вдруг не трупы? Вдруг кто дышит ещё??? И не успев подняться с земли обалдевшей, бросились к телам, что рядышком, туточки находилися, к груди каждой припали с отчаяньем, но в надежде бессмертной стукоточек сердечный услышать, в чувство недобитого привести…

Увы!

Смерть всем владела. Не сговариваясь, носами шмыгая, искать лопаты-заступы приняли-ись, благо – нараспах окрест…

В круг встали, огромную ямищу медленно рыть взялись. Копали долго, с тупым остервенением. Тяжело, порывисто дышали, кряхтели, когда гребок не удавался – металл натыкался на корневище жилистое, каменюгу… Издевательским прищуром зырилось с притолоки небесной по-прежнему самовлюбённое, сдобное «соннышка-а…», кропило плаху земную бедовым светом, которого теперь стало вроде поболе за счёт образовавшегося пространства и который наводнил просеку буреломную, бездумно тени лепя. Сиятельнейший поток лучевой застил очи, допекал души. Мил нёбыл. Некстати был.

Отрыли. Также молча-бережно уложили на дно родные трупы, трупики, потом, опамятовав, послали несколько человек к Игринке, за водой – тела отмыть дабы от налипшей кровигрязи. Сыскали котелки, ковшики, благо посуды и битой и уцелевшей, просто рассыпанной поодаль, сказывалось выше, пусть и не навалом имелось, однако выбрать можно было. Зарудный с мужиками отправился – не мог боле видеть такое…

Сволочью безалаберной, злорадно-смехучей на порожках окатышных, в шиверах и на перекатах резвилась бойко Игринка, вся в аляповатых бликах, брызгах пенных, под призрачными мостками радужными, коими шагать припеваючи в райские кущи… – как не от мира сего. Набрав водички ледяной, Иван-сотоварищи и сами ополоснулись, напились, понесли влагу животворящую обратно, ждали где с нетерпением. Лоскутками, руками тщательно-нежно смыли-стёрли с кожи остывающей, остывшей уже близких-сродных подтёки, комья, пятна… Захолонуло в сердце у каждого, когда беспомощные тела обнимали, поддерживали… однак крепчали – стиснули зубы и святое работали. Токмо не разрыдаться! Сдюжить-перемочь. Толю Глазова также в относительный порядок привели, после чего он Прошкой занялся – на колени взял, глазки закрыл… Подул на реснички серые… Зарудный тем часом Тамару Фёдоровну умывал…

Всё. Уложили тела в могилку братнюю. Сгрудились, крестясь неистово…

– Пора, мужики, чево вошкать-та? Медлить – дела не избыть. – Сказал Иван, потом, рукой ткнув в сторону солдат, отброшенных буревалом летучим, с раздумьем-сумни-тельством добавил:

– Их, что ль, так и оставим? Не по-христьянски, болыпо…

Порешили ещё одну ямку вырыть, поменьше. Стаскали в неё трупы мучителей своих, завалили, землёй-дёрном, да чем ни попадя завалили, после же к основной яме вернулись, ещё несколько минуточек постояли, прощеваясь. Закапывать принялись. Сыпали землю – сперва, по обычаю русскому, православному(7), горсть каждый бросил, затем до лопат дело дошло. Набросали сверху бугорочек… Когда Зарудный втыкал в нахолмие сооружённый здесь же из пригнанных крест-накрест жердин крыж, то почувствовал остро: словно в живую плоть чью-то штырёк вонзает и вдвойне больно имяреку тому поскольку добивает его Иванушка, он-сам, бишь, и добивает-забивает без меры, извергу какому уподобясь… отпрянул даже… Ладони – потные… Но всё же заставил себя пересилить наваждение странное, опять за крыж взялся, надавил… Морщась, хмуря брови, досадуя… Сказал глухо:

– Таперича помянем горемычных, земля им пухом!

Мужики изумлённо уставились на Зарудного: спятил? Избёнки-т ветролом покрошил, не то что камня на камне, вообще ни хрена не оставил… Так, брос один! Тем паче – ни самогону, ни закуса!

– У Горелова поминать будем. Да. Бурелом, он, вишь, как прошёл, – стороною! Не стронул Ярки. С Елоховой заимки ажно на прииск (тот самый, «неверинский»!] подался… Не боись! к утру дойдём! Али как?!!

И верно, стихия протаранила тайгу вдоль Лены, но не по самому руслу – параллельно, загубив немало веслинок-заимок одиноких, не причинив однако вреда городу.

– К утру дойдём, говорю…

И – зашагал крупно, не оглядываясь. Живые – за ним.

Страшное это было замедленное шествие. Не люди – вампиры привидённые: в кровищи, остановить которую полностью не удалось, конечно, – только не в чужеродной, но в собственной, в кровной кровушке, да в кровиночках замученных заживо, ибо воды, которую набрали-принесли с Игринки, в аккурат хватило для того, чтобы тела обмыть, о себе не пеклись. Вот и продвигались… стлались трактом, след оставляя памятный – кровяной. Тёк ручеёк, живой еле, тёк, не пересыхая… Хромая, подбадривая дружка дружку, стоном давясь, на мат-восклицания скупые, ноги едва разбитые свои переставляя, а то и приволакивая ногу-то, словно за поводырём невидимым – шаг, шаг… ещё шажок, и ещё… ну, же… ну… «за…» Не за кого!! Бобыли, бездомки, сироты в рубище шли. Вперёд, вперёд… Вперёд. Егор Перебейнос, нехристями донельзя раскуроченный, с вытекшим глазом левым, в раз дцатый схаркнул, оторвал от нательницы хохлацкой полоску – лицо обтереть, но Зарудный, боковым зрением углядев движение судорожное, остановил мягко-настойчиво:

– Кровь кровью смоешь, казак. Терпи покелича. Дай городским на тя вволю полюбозреть!

– Звидкэля цэ ты знаеш, що казацька в мэни кров?

– Знаю вот.

Сказал – отрубил.

Ближе к вечеру привал короткий сделали. Сидели, кто на чём, больше молчали, глаза вниз, а в метре – тайга, тайга – и всё тут, никаких эпитетов не надыть! Жила своей жизнью, отходила на покой заслуженный до зорьки ясной. Чернее чёрного ночь на плечи земные легла. Беззвёздная, безысходная… Будет ли зорюшка ясной, ещё померковать стоит! Одним глазом не больно красотинку выцедишь… Зато и слёзок вдвое меньше будет…

Зажгли факелы – сподручнее. Огонь скупой, мрачный, тотчас без шипенья сгас, будто в омуте чернильном. Первобытный страх заполнил чашу потрескавшуюся человеческого бытия? небытия? – страх этот, сквозной, мистический, пролился ниоткуда наземь… стал в сгустки сворачиваться, запекаться словно, образуя наросты уродливые на незримых оболочках затерянных, замкнутых, но непобеждённых душ, ибо бессмертие предписано каждой. Страху имя было – беда. Страх цепко вмёрзнуть пытался в жёглое-кровавое, пускал корни змеистые, седью набрасывался… туманил… чадил…

– Айды! – подал голос всё тот же Зарудный. И первый на ноги встал.

Дальше двинулись. Совсем медленно, переступами пяди мерили, наощупь будто в кромешности глыбистой… Толю Глазова поочерёдно к груди прижимали – несли, сам он не мог идти, не мог, хотя и порывался. Под утро разразился гром – гремел жутко, божественно, а дождя не было.

…Так и сканул проходнем, по судьбам-жизням во вчера отошёл второй день седмицы – тяжёлый, кровяной, но не скатился-выпал из обоймы зарядной календаря, а изволоком вгору, тянигужилея! пропади пропадом, окаянный, он!

Среда началась.

Непаханно заросло небосине поле бурьяном грозовым. В выбоинах туч тонко и неверно сияли прожилки чистейшего лазурика – словно чьи-то глаза без глазниц, от увиденного отшат-

нувшиеся и в страхе неприкрытом туда-сюда бегающие. Белёсо, хлопьями курился лог, в котором блёклым миражом проступали Ярки.

– Город-та-а… а – одними губами сеченными Толя Глазов вышепнул и заморгал часто.

Тракт ловко сбегал по склону в распадок, разбивался на заулки, рукава… Немым, заспанным истуканом, чем-то совершенно отрешённым и непостигаемым вырастал внизу город, частично сокрытый, занавешенный кисеёй серой туматы, испарений. Грани, рёбра домов, построек, очертания иных строений из камня, дерева не манили, но и не отталкивали. От них разило бездушием, сытостью, потусторонностью. Спуск занял с часок примерно. Всё. Пришли мужики. Допёхали.

Почти…

Пальнуло солнце – справа от Ярков пучеглазо зыркнула большая вода Лены; порт, правда, надёжно за сопочкой схоронился, но от этого ничегошеньки ровным счётом в настроении людей не изменилось – близость реки великой обманчиво вдохнула было новые силы в старокандалинских, да ненадолго…

Первым с Толей на руках Зарудный шагал. Случайно ль, но в тот самый час-миг, как вошли они в город, с колоколенки приземистой, что на взлобке росла, бухнуло к заутрене. И – остолбенела разгон берущая чужая кутерьма-суета. Работный и торговый люд, купчики, шулера, «слуги божыи», дамочки разодетые – возвращающиеся, прилизанные пай-мальчики – школяры, курсисточки розово-смазливые, выхоленные статские, дворовая ребятня – оборванец на оборванце, разные-прочие зеваки вытарасканно глазели на сошедших с одра смертного титанов и богов. Не ахали, не охали и не ойкали – крестились суеверно, лихорадочно, стыли вкопанно и при этом странным образом отодвигались-пятились… Зарудный к дворцу Горелова мир вёл.

И опять сверкануло-рассупонилось – вспыхнули в лучах дармовых фасоны бесстыжие, шелка-пан-бархаты и домоткань грубая, кацавейки внапашку да костюмчики франтовские-фрачные… серёжки, шляпки, лорнеты – но и голь нищенская, безнадёгой скроенная и пошитая – человеческая! Причёски, патлы, сапожки… зубы золотые, веера… свёртки в руках, трости с набалдашниками… другое многое мозаично засияло, запереливалось красками, переплелось в какой-то нереальный, распущенный узел… затерялось во времени и в пространстве… Брызнули из окон, к востоку обращённых, янтаринки холодно-заигрывающие, чуждые; криво, ломко взъискрились отражённые лоск и мишура баловней судьбы, тех, кто в прихотях-похотях жизни свои расточал.

СТЕНОЙ, стеной шли мужики, в кулак сжатые старокандалинские! Вторгались, вдавливались из последних силушек в центр города, в пекло самое, где особенно блистало мещанское благополучие, пухло, цвело цветом пышным самодовольное ничегонеделание, источались страстишки пагубные-мелкие, лоснились, потом бисерным, обильным на щеках мордоворотских-бритых *салели* сытость непоказушная да чванство и покачивались не в такт крестики православные… где приторно-едко разливались песнопения елейные, которые пастве бедной – как мёртвому припарки… где ждала аура нехорошая… Из последних сил двигались, но опять же таки образом странным, непостижимым во всём ЭТОМ силы-то и черпали, находили!! Словно от привидений чумных шарахались от веслинских горожане ярковские – оцепенение, в коем пребывали они, вскорости сошло на нет: пёстрые толпы росли, образовывали единую, кое-как упорядоченную массу, местами даже возникала давка настоящая, нешуточная – будто ручища невидимая подбрасывала дровищи в костерок, и тот всякий раз вспыхивал, обсыпался искрами ненадолго, трещал… А скопище увеличивалось, толкотня усиливалась, зык-язык, от местных исходил ровно, нескончаемо. Огромный потревоженный муравейник или улей! Зарудный, держа в руках задубевших Толю, неостановимо, грудью вспарывал и просекал с виду хрупкий, хлипкий остов противоречивого и податливого, бренного и непременно ими, с того света выходцами, проклинаемого, отутюженного этого городского мирка.

Жглое, в зенит гребущее, лучемётное, плавило-плавило рыхлую вкруг себя рухлядь, права качало…

В глазах Ивана, Егора, Фомы, Степана Бакалина, Ипата Бугрова, который действительно подпалил домину шагаловскую и который единственный из Бугровых выжил вчера, в глазах Толяна, других нескольких великомучеников – не слёзы, не свет божий – сродных лики… Мала веслина – в тыщу крат память по ней вёлие! Глубока память…

ЛУКЕРЬЯ ЛЕЩИНСКАЯ, работящая, приветливая..; ЕФРОСИНЬЯ ПАДЕРИНА, в святвечер народившаяся, вся в горклой вязи морщин, седая, сердобольная..; Авдотья ОСЕЕВА – «скока разов выручала, рядом в минуточку трудную лучалась бывать, потому как… вот беду и отводила, ну-у!»; АНФИСКА ЗАКАТОВА, гуляки безбожного разнесчастница-дочь..; НИКИТА ВЫРУБОВ – мужикам пример!..

– Стой!! Ни с места, сволочи!

Перед роскошным трёхэтажным дворцом буквой «П» – обителью гореловской, прямо напротив фасада колонного, в стиле барокко, на площади брусковой – солдаты с «ружжами» наизготовку. Много солдатушек. Видать, успели предупредить Родиона Яковлевича холуи его о приближении Зарудного и других недобитых старокандалинцев. Целый полковник лихо гарцевал на скакуне белокипенном с седлом да сбруей на загляденьице – Мяхнов это, не отправился он тогда в Старую Кандалу, да и к Горелову «на ковёр», на съедение не попал – у одной шлюшки недорогой отлёживался, вот его староста Кащин и не знашёл, «орёлика»! Зато сейчас являл собой завидный образчик «сполнительности», службой ревностной, энергичной жаждал расположение благостное миллионера к себе снискать-вернуть.

– Ещё шаг – стрелять прикажу!!

Разорялся офицер, вылупив буркала от запоев частых тронутые, осовелые… водочные!

Зарудный, кандалинские вперёд шагали.

…сам приземист, душой богат-высок ПРОТАС КАБИН – его тоже вчера нелюди… А подъелдыкивал, бывалоча, Протас! Это он Неверина до исступления, до ручки чуть не довёл, когда прознал от тятьки поддатенького Марьюшки Аникиной насчёт золотишечка – Аникин-старший разболтал, Протас же, кубыть, первым подначивать и начал Кузю, ну, тот не выдержал, как же, на глазах у Марии да сородичей ейных рази утерпишь, ну и сорвался с насиженного на всех-их горе-беду..; СЕРАФИМА НЕВРЯ – за правду-матку любому готова была глотку перегрезть… и её не стало; ТРИФОН НУЖИН..; УСТИНЬЯ КОКИНА..; ФИЛОН БАТОВ – не любил филонить, кстати..; ОШУР КОРЗУХИН, других десятки… не много не мало – под шестьдесят дворов насчитывала Старая Кандала…

– Цельсь!!!

Гаркнул Мяхнов и тогда только Зарудный сделал знак своим, веслинским, – те послушно остановились. Иван по-прежнему вперёд хромал, лишь бережнее-крепче прижал к груди Толю:

– Боисси?

– Ага…

Пролепетал в ответ мальчик. Изуродован он был до неузнаваемости, мать родная не узнала бы! (Была бы маманя, а там, глядишь…]

– Ничё, малец, теперича ужо всё.

Сделал ещё несколько трудных шагов, к Мяхнову вплотную почти подошёл – конь заржал, прянул… – но обратился к солдатам:

– Зырьте!!!

Поставил Толю на брусчатку: «Держись, малёна!»

Тот зашатался, неловко переминаясь с ноги на ногу, пытаясь удержаться, не упасть, однако от потери крови, от голода был слаб очень, почувствовал до тошноты головокружение и тихо со стоном им же подавляемым, но потому особенно щемящим, раздирающе *жалым* опустился на мощёную землю. И ёкнуло сердце у Ивана – своего, *добитого,* вспомнил сыночка.

– ЗРИТЕ!!!

Вздрогнули все.

– Стреляйте, падлы!!! Ну, же?! Н-ну!!! В него!!! В меня!!! В НАС!!! Палите! Командуй, херой!!! Не вороти морду, слышь-ко, образина, христопродавец!!! Ты и солдатня твоя – с-сучьи с-суки, с-суки!!! Но будет и на нашей улице праздник. Огромный, светлый, прекрасный! СТРЕЛЯЙ!!!!!

Что-то нереальное, неумолимое ползло в замшевом, плотном воздухе – донимало, душило, обволакивало… и не было этому названия… Из сна чьегойного явилось – в никуда и уходило, уползало, бочок подставляя… проскальзывая… Сжалось всё… в точечку, в секундочку канунную… в предтечу сжалось…

– Ой, мнеченьки!

Раздался в толпе, что кандалинских взяла в полукружье позади, но держалась на удалении некотором, звонко-сердешный вскрик-всхлип, из сгрудившихся горожан выпорхнула-вырвалась как на серёдку простая русская женщина, неприметная, лет сорока с небольшим, к Толе опрометью бросилась, оторвала прилюдно от подола юбки сатиновой цветастый лафтачок, заботливоловко обмотала рану, открывшуюся на тельце детском с минуту назад и кровоточащую невыносимо, запричитала сбивчиво:

– …Обмыть бы надо… господи… чем же вас так, родненькие… неуж под буреломом косточки намяли… не дай Бог, заражение какое… бедныя… господи…

– Ты ж знашь, Авдотья, не так было. А ежли не ведомо тебе, их вот поспрошай.

Коротко кивнул в сторону веслинских.

– Надысь всё тут всадники, всадники… А щас вот – солдаты…

– Про то и сказ.

…десятки других, да-а..; поимённо распирали, вередили грудь, память сердца доимали пыточно, невостребованно. Отцы, матери, жёны, дети, сестрёнки и брательнички – всё население бывшей деревеньки… бывшее население… КОСЬ-МА БОРОВУХА..; АНИСЬЯ ЕФАНОВА..; СТАХЕЙ ЛИМАРЁВ..; ДРОФЕЙ ЧАБРОВ..; ДОНЯШКА ЕРОХИНА (энто звали её «Доняшка», на самом деле – Дуня, «Дунечка-одуванчик»!); НАРОКОВ ПЛАТОН… И каждый, каждая по-особому приметен и люб-пригож был! Взять Платона Нарокова. Много чудного за ним с колыбели самой тянулось: мол, в малолетстве, того допрежь, дитёнком неразумным, хворал часто – не с того ль, что ворожбу на него хтось напустил, сглазил ненароком? Гм-м, прошло столько-то лет-зим и теперь Платоша наш сам взглядом ли недобрым, смутным, водянистым, наговором каким кого хошь мог со свету сжить, извести. Такая вот напасть. Боялись его, окромя Бугрова-старшего, почитай все, чурались, будто чёрт ладана, поодаль держаться старались, никаких делов с ним не иметь. На всяк случай! Даже начальственные лица. Себе дороже! А ныне… Сейчас и Нарокову злой рок выпал.

– А ну, разомкните уста, мужики! Правду-матку наизнанку выверните, обскажите, как вас ихние! – рукой на чертог гореловский указал-ткнул – холуи живьём в гроб вбивали, да как не всех принял он, чтоб было кому месть чинить. Пущай таперича и городские знают да кумекают болыпо! А свет, видать, не без добрых людей…

Стояла себе в урманах-скрадках, за три девять земель, никому не мешала деревенечка, крохотная – Старая Кандала. Первые её жители – староверы да и вообще раскольники, от людей гонимые, изгойствующие, также – ссыльные по этапам, всё бывшие ссыльные, своё отвайкавшие, ну, и беглые, частью ненайденные, частью прощённые… Наверно, когдысь, лет двести, больше, назад, звон цепей-оков гремел в заброшенных дебрях чащобных нередко, оседал на одном и том же месте, где предстояло бедолагам и сроки мыкать, отбывая каторгу-наказание, и просто скрываться… выживать… звон гулкий пугал-разгонял тишину, всегда одинокую, нагоняющую тоску полозучую… Тое бряканье унылое, постылое разносил ветерок, разносила окрест судьбинушка, и разливалось оно вправо-влево по стремнинам игринок сту-

дёных, словно эхо стогласое боли народной, народного стона-проклятий… Из звуков скорбных, тяжких и народились приюты душам мытарским, навроде скитов особенных-отчих, возникли на голом месте; с годами же души оные, мёртвые? живые? корни пустили глубоко и, главное, узаконенно, благо поблизости городок рос-рос… Собственно, так и стали жить-поживать, не добра наживать предки Бугровых, Ефановых, Нароковых… Под общим небом, под единым Богом вкалывая от и до за ради детушек своих. Родовы подымали, увядали сами, промышляли семьями кто чем горазд, свободу выискивая-не находя, кабалу на кабалу сменившие, но при всём том непременно на лучшее надеясь и с гулькин нос счастьицу земному щедро и чисто радуясь, когда пёрышки жар-птицы случайной в руках натруженных оказывались. Нарадоваться не могли! Поколение за поколением… Русские, российские люди наши, редкостные, подзабытые – а зря! Наверно, оттого подзабытые, что мучительно, невыносимо бередить память человеческую горестными приметами, кои в названиях веслинок подобных навек осели-впечатались.

Стояла деревушка, стояла…

И – всё. Ничегошеньки не осталось почти, окромя нескольких мужиков, мальца, Толика Глазова, да пепелищ-развалин, хаоса, пустыря… Бугорочка с крестиком…

– Разомкните уста!..

Лопнула, изнутри разорвалась, напора чувств сдерживаемых не вынесла живая плотина человеческой отрешённости, терпимости. Выбросилось наружу сквозь отчаянье глухое, немоту панцирную, озлобленность волчью, выбросилось-выплеснулось из тесноты спираемой мужское страшное рыдание: всё, до последней детальки-штриха, точь-в-точь наперебой поведали они городским. И то, как Трофим Бугров с сыновьями во хвое-папоротнике Ивана Зарудного повстречали на стёжке-таёжке, и что дома у вдовы Глазовой хоронился-отлёживался потом Иван, и про дальнейшее – виселицу с дыбой наспеховой, поджоги-пожарища, Ступова, о драке с солдатами, когда открыли Бугровы пальбу из дома своего в подонков… главное же – о порке массовой взахлёб, навзрыд выговориться не могли. Да и как не сказать, как умолчать такое!

– Бурелому спасибочки, токмо зачема нам жить таперича-т, ась? Без семей-детей. Это ведь боженька на небе один, а человек один ну, никак не должон! Один хлеба не съест!

– Верно, Ипатушка! Правду гришь. И в раю жить тошно одному, а мы…

– Ничё-ё… помянем вот наших по-русски, по-человечески, болыно, да сшибёмся за сермяжную тую мужицкую истину с людоловами-холуями! А тама – в моги-илу… к ядрёной гадине… Угу.

И с таким безразличием резким после бесшабашно-бурного «сшибёмся», с такой обречённостью вытиснул из запахнутости своей нараспевное «моги-илу» молодой пареша кандалинский, что показалось: облеклось в плоть слово, привидённо заколыхалось в неволнах понад площадью, запогостилось аки – и тень призрачная, крестообразная смиренно накрыла всех, вытвердевать-сгущаться стала, накликуя – что же ещё?! – на людей… В спёртом от стона, плача-рыданий воздухе зависло это самое неисповедимо огромное нещечко и поплыло незримо-зримо прочь облачком смутным-смурным, невесомым, будто из многих-многих душ одна, цельнохристианская – вот она! – святая душа.

– Нишкни! – главу гордо Зарудный вскинул. – Живому нет могилы. Мста не мзда! То-то ж. Горелову – икрюк на шею, к горлу секач – отмщу!!! А жить – за них! стану – длань в сторону веслинки бывшей простёр… и опять солнца луч на миг ярчайший из плена застенного – во небушко сине, а оттуда – в Ивана упёрся, вызарил светом Фаворским, подчеркнул значимость происходящего…

Их не просто жалели горожане. Люди принесли хлебец-благодать, кутью, водку-самосидку, травы какее-то и здесь же, перед беломраморной берлогой гореловской, вместе с кандалинскими, которых кормили-поили и немудрёно врачевали, главное же – которых и не пытались утешить: бесполезно, ни к чему это… с ними, сиротинушками, поминали безгрешных

горемык, что до нескончания веков в одной ямине остались, под одним на всех православным крестом. Крестиком… Клокотал, бурлил пестротою, цыганскою словно, площадный перемешавшийся люд: десяток с небольшим старокандалинских и городские; стоймя цепенели ждущие команду на открытие огня солдаты и в длинной шеренге той выделялись рекрутищи саженные – тем и выделялись, что роптать не роптали, но с ноги на ногу переминались неистово да глаза в землю тупили.

Беззвучно бушевало в зенит целенное солнечное ядро, рвало плесняк рыхлый, седавый туч, возвращало бедолахам по толике махонькой тепло единородное, живиночку облегчения каждому давало. В сплетенье тел, в братском милосердном объятии всеедном, нерасторжимом, покуда жив народ русский, были скорбные сущности человечные, была наинепременнейшая черта характера, характера нашего – сострадание, поддержка, умение уникальное чувствовать боль чужую острее, чем собственную, свою. Ибо нетути чужой боли, как и не бывать деток чужих! Наконец, виделось, воплощённо виделось желание неподдельное растворить в себе журьбу, принять на себя горечь чёрную до без остатка!

Фома-земеля…

Уткнулся в подвернувшееся откуда-то, случайно? нет ли? мягенькое, белизны свежайшей плечико красивой молодой женщины, почти девушки, и безжалостно, икающе взрыдывал, несчастный… Образы жёнки, Даши, и доцюры коханой Ельки-недельки (в воскресный день родилась!] измочалили, истерзали, исполосовали память и он, по-детски заобиженно, притулился к похожему до невозможности и такому ласковому чужому плечу, лопоча голосом изменившимся «Дань…», «Елюшка-а…», словно вызывал из мрака вчерашнего к жизни посмертной жену и дочь – две кровиночки, как бы выкапывал их из *той* ямы, куда удобно и аккуратно – давно ли? – обеих рядышком положил… Его руки… пальцы безотчётно, конвульсивно буквально вгрызались в булыжник гранитный, ногтями, до боли, исступлённо в комлищи каменные впивались, сам же, обезумев, в истерике обрушившейся, зверел, сатанел от пережитого – отходил так… Забыться, забыться! Вымолить запоздало прощение, отмолить грехи (а ведь имелись грехи-то!]… да нырнуть в утречко поспелое, добурелом-ное, *допорковое,* вторниковое, когда ещё так пригоже, так обетованно хорошо было… вновь ощутить прикосновенную лёгкость лебяжечек своих, дочуркин смех услышать непосредственный – вот сейчас, сейчас… ни секундочкой позже и услышать… иначе просто не сможет… И пальцы сильнее, страстнее пытались разгрести в булыгах перед палатами чертожными землю… а дворец глазел десятками окон изуроченных да арочных, а палас слушал десятками ушей оттопы-ренных-барокковых… и Фома рычал, рычал, не болозень[1] – нелюдей проклиная глухо и уже совершенно не отдавая отчёта тому, что делает… С ним никогда прежде такого не случалось!! Утонуть во счастии надо было ему – во счастии, которого на свете и в помине, оказывается, нету!!! Фома вырыдывал из нутра обугленного душу, не мог вырыдать из себя – себя же, хоть убей! – не мог и всё тут. Он отделялся телом от этой самой своей души, не наоборот, рассудком, помутившимся на миг, *там,* с ними, находился, простите его!..

А та, кто тщетно пыталась Фому утешить, кто убаюкивала, гладила… она, мужняя жена (колечко-т специально сняла, перед тем, как шагнуть к нему, чтобы он не стеснялся, понимаете, а?) она, голубушка наша, впервые, может, за свои двадцать неполных лет прониклась звёздным чувством, которому и названия не придумано – чувством, обратным, противоположным ревности!! Она дарила ему эту самую Дашу, «Даню» – и не хрупкую иллюзию настоящей, а именно живую-живёхонькую, во плоти… Святую, великую ложь создавала для него, и не от себя отрывала с оглядкой на окружающих, но с состраданием глубоким, мудрым, женским! творила по образу и подобию собственным нечто вроде двойника Дашиного… она тотчас перевоплощалась в Ельку-недельку… Знала: чем быстрее вырыдается, отведёт душу Фома,

[1] Болозень – болезнь, шишка

тем раньше полегчает хоть на столечко бедолаге, потому как полное исцеление душевное, возможно, не наступит никогда. И она улыбалась, рдела, расцветала всем существом своим, радостно несла-дарила Хмыре самое дорогое, прекрасное, изначально имеющееся в женщине каждой и также безымянное, хранимое в лоне её от рождения и предвещающее всю последующую жизнь, долюшку… и переходящее затем в по-кровенное МАТЕРИНСКОЕ НАЧАЛО… И она делала это естественным образом, незаметно поднимаясь на недосягаемую в иные минуты человеческую высоту, откуда рукой достать божественное, *мадонное*… шаг-шагнуть до величия бессмертного, скромного.

По-над ними лепестком распустившимся, раскрывшимся лазоревым лепестком – одно только небо, бездонная, невозбранная воронка, втягивающая в исподнюю наготу всю боль чад любых земных, дабы там, в беспредельности вечной, обнять слёзы, обиды наши, обвеять их светом таинственным, теплотою истинною, окунуть в омуты исцелебные, что от ангелов – всеблагих…

…Пили горькую, горько поминали и всё это время уже не лихоскоком, а запуганно, нервно вдоль строя дрожкого тыркался тудэмо-сюдэмо полковник Мяхнов и напряжённо-затравленно стояли с ружьями навскидку солдаты. Стрелять было нельзя, и Мяхнов отлично понимал сие – ведь здесь же, в толпе разросшейся, находились и люди знатные, с положением-именем: купчики гильдий разных, попы, дамочки в мантильях горностаевых-шёлковых, интеллигенты, чинуши из мест присутственных, причём, как раз этого, последнего брата, протирающего штаны и рукава, в Ярках за последние годы особливо много на халяву развелось, до нерезанной… пардону-с, (говорится так]; однако более всего собралось простолюдинов – работных, торговых, ремесленников-кустарей, портовых и прочих, прочих, прочих… также бабонек золотеньких наших да детей, впервые лицом к лицу оказавшихся с неприглядной грязью-жизнью. Кишмя кишел муравейный подол (дворец, площадь расположены были в небольшой, неприметной глазу, но-таки низине, что заросшим восточным окрыльем своим подгребала-подступала чуть далее к Лене…] перед окнами Горелова, подол тот упирался в частокол штыков примкнутых, частоколище же, в свою очередь, гирляндно огибало ограждение витиеватое, чугунное, в два ряда аж, под арками соединительными, с вратами – поверите? – триумфальными почти, выложенными, подстать дворцу, мрамором белогордым… продолжать долго можно, к месту ль «щас»? Уже не проклинали огульно-молча старокандалинские город за свалившееся отсель горе беды, как недавно совсем, когда шли вслед Зарудному под грохот небовый сюда… не хулили, а принимали поддержку и благодарили народ честной, ведь кабы не люди кругом-вокруг, не их души рядом, то и представить страшно, что ещё могло бы произойти: у Бога дней много, так что вчерашний, «лёгкий» и «сухой», не последний, кубыть. Воона как. А издеваться над людьми холуи гореловские горазды были! И сегодня, сейчас, под прицелами взятых наизготовку винтовок старокандалинские разумели: их спасают, спасают для будущего…

Тем часом сатрап жестокий в покоях своих у окна расширенного с женой Наталией Владимировной находился и ненавистно вниз глядел, выискивая Зарудного, коего более всего ненавидел и от присутствия которого ему нехорошо становилось – зачуток, но факт! Фа-акт. Оторвался от окна, размашисто, упруго к знакомому уже зеркалу гигантскому шагнул, на собственное изображение, в нём набычившееся, хмуро воззрился. Хотел харкнуть, харкануть не столько на «себя», сколько по привычке стародавней – плевать в зеркало и ошмётком слюны выход наружу чувствам неукротимым, порочным давать. Напыжился…

– Повели Мяхнову своему всех до единого перестрелять! Толпа разбежится, а *эти* останутся. Не то после не оберёшься!

…напыжился – и спёкся. Выдохнул, как плюнул:

– Ну тебя! Указчица нашлась! Иди отсюда, не мешай! Сам знаю, что делать…

– Ишь. Заговорил!! Ну-ну…

Тоже к зеркалу подалась – лоск навести. Дородная, властная, с гордыней непомерной, во взгляде да из-под бровей неженских угадываемой. Отражение напротив сказилось тотчас – чета супружеская являла собой нелицеприятное зрелище: как бы друг перед другом ни скрывали чувства низменнейшие, однако физиономии буквально перекошены от злобы и ненависти, страха подступающего… Внутри сознания копошилось тревожное, смутное-не смутное, но неприятно волнительное предощущение близкого конца – всему. Загнать вглубь нервную дрожь, вызванную и неприятием происходящего в минуты эти на площади перед обителью роскошной их, и подспудным предвидением открывающихся в скором будущем потрясений великих, и общей неудовлетворённостью вся и всем – не могли. Оба. Ни Он, ни она. Слой амальгамы впечатал в полировочку гладкую застывшие в порывах нереализованных позы – ненормальные, взбешённые… и угрожающие, и растерянные сразу… Так и стыли, пожирая глазами нечто невидимое, зазеркальное, готовое, казалось, вот-вот вылупиться из ледянистого покрова необъятного и стать не кошмаром надвигающимся, но вполне зримым и осязаемым воплощением уготованной мести. Самовлюблённая чета, хозяева Сибири русской – Он и она. Четыре кулака, стиснутых судорожно, грозили и тем, кто сейчас на площади находился, и – пуще прежнего – грозили мороку ужасному, наплыву призрачному, грядущему. Стращали тем, что, разжавшись, в патлы-кудри ближнего вцепиться могут неистово. Опасность была взаимной и явной, тут уж никуда не отвертеться! Незадолго до сценки сей про меж них серьёзнейшая размолвка вышла. Не первая, не последняя, разумеется… Плюс эти вот события… К тому же настроение Родиона Яковлевича подпорчено изрядно было донесением одного из его помощников на местах (уцелевшим непонятно как), что стихийное бедствие вчерашнее слизнуло с лица земли прииск новый, «неверинский»; так мысленно называл золотоносное место Горелов. Погибло невесть сколько людей – впрочем, последнее обстоятельство заботило меньше всего. Жаль, прибыли поубавится, да восстановление хозяйства потребует и времени и вложений дополнительных! Конечно, несметные россыпи, жилы рудоносные возродятся! Скорее бы… И хрустнули кулаки миллионера от нетерпения.

Ждать невмочь. Совершенно не тешит душу, что беда – смертельная-не смертельная – пройдёт, дело-то поправимое! Однако… однако денежка уплывает, мимо кармана идёт!

Понемногу стихал шум на площади.

Редело. Чем ниже вечер, тем гуще ночь. Ночнело скоропалительно, почти сразу – словно кто спешил мантией с плеча добрецкого накрыть люд, уберечь от неприятностей назревающих. Небо – накатом агатово-слюдяным, над стрехой – лунища, взгромоздилась вороной, только сыр один и виден, сама же —?? да ещё сияние лёгкое, восковое, оплывшее… И взорваться готов блеск изюминок, накрыть ситом звёздным купол холодно-фиолетовый… Повеяло стужей…

Редело. По-одному, по-двое разбредались старокандалинские – кто к кому кто куда… Иван Зарудный в тайгу подался, по зимовьям, заимкам, кущникам, так просто… Знал: в городе ему не жить, научен горьким опытом досыта был. А тайга тайну скроет, на то она и есть тайга. Дремучая, вальяжная, расписная, она стала для него надёжным отныне пристанищем. К тому же лучше Ивана Зарудного вряд ли её кто теперь знавал – ведь Трофима Бугрова более не существовало.

4

Мыкался по белу свету Толя Глазов, среди злых и незлых людей жил-рос – по старой памяти, как по грамоте, душу свою закалял, к новым пыткам и радостям по судьбе шагал. Хотя радостей, конечно, было совсем ничего – так, на пятак, раз-два и обчёлся! А всё ж…

Однова, без работы оставшись, забрёл на пристань. Его туда постоянно и неудержимо влекла непонятная сила, страстная власть позатайная. День ветреный, стужий выдался; шелестел над затоками редкий лист палый, мостил пятнашками зыбь-рябь. Зачинались осеня жух-

лые, докипала цветь… Внимание подростка привлекли двое мужиков, что на брёвнах, к сплаву готовых, сидючи, промеж собой гута-рили втихомолочку. Порывы дуновенные с реки приносили обрывки фраз, отдельные слова, которые невольно заинтересовали парня.

– У их, веслинских, подворные да подушные, айв нас, рабов работных, ась?! Одна забота – жарь до пота. Пробавиться нечем. Ни те грядочки какой… Душу отвесть! Укащику – рупь, самому – полтина. Живёшь, как скотина! Помню, тятька-т покойный крушец варил – по-кричному железо выделывал. А жили всё равно впроголодь! Бывалоча, с огня домой возвёрнется, в закуте свовом ото всех нас особится – с тоски-т… а мы, мал мала меньше, носами хлюпали, не разумели, что к чему. Токмо под ложечкой сосало – не приведи Господь! Жуть брала. Четверо нас было, голоштанников. Двое с голендухи помёрли… ну, с её, окаянной! Тятька бился-бился, сам росинки маковой от смены до смены не возьмёт бывалоча, отощал вконец… Захилял… Вона как! В закуте свовом однажды и преставился, храни, Господь, душу евойную! Маманька-т ишшо допрежь тово Боженьке душу отдала! Щас вспомню: ком к горлу. Зря, штоль, грят: кадык невелик, а рёву много! Эх-х!! Вот инно думекаю: а пошто человеку жить-то? Да рази ж мамка с папкой, когда меня стругали, гадали так? Им в обох ладно-любо было, а потом хоча трава не расти! Не мог меня тятяня в сторонку сдрючить?! Хы!! И то верно: жизня, она завсегда должна своё брать. Жисть наша. Так то— жисть! А мы што – живём? В гробину живьём… С ноги на ногу переминамся… Едри тя…

– Цыц, расшабанился!

– Чевой-та цыц? Тише да тише!! Молчбою прав не будешь. Когда схоронили мы с тяткой да брательничками маманю нашу, земля ей пухом, то нечаянно, в поминанье, прослышал, как она нас выкармливала. Угу… мне, сопле, скока было тогда? Годочков семь-восемь, да вот врезалось в память: маманька тогда однова без работы ходила, ну… с мужиками, что на ногах твёрдо стояли, спала, будучи мужниной женою… Понятно, домой ворочалась как след, ни гугу! Грех? Грех! Да не скажи-и… Она у мужиков тех заместо платы то полковрижечки, то ишшо чево домой притаранит, нам, бишь, малькам… Где так давали, а где и откровенно подворовывала, хоча воровством это рази назовёшь? Случалось, жалеючи, с поняткой, иные от дома без всяких со стороны ейной услуг отрывали на поживость… Короче… она тогда без работы, грю, ходила. Налево. Правда, и по дому поспевала… Словом, как-то застукала её сука одна. Пришибла маненько маманю нашу. Та оклемалась, бабы, оне тово, живучи больно, токмо вот с поры той в услугах ейных бабьих ей отказывали болыпо. С трудом на работёнку какую-никакую пристроилась… Дык вот беда: побои-то те опосля боком вышли! Схоронили мы её, бедовую, безгрешную! А вскорости и тятяньку туда ж, под её крестик, поклали, штоб рядком лягали… да вот… тако и было… Мы и поклали, кто в живых, спасибо им, родным, остался… Взрослых-то – пара бабок, да старик-сосед, уж, почитай, скоро год, как Богу душу отдал. Мнда-а… А годы-то всё волоком, волоком… Ни в жисть не выжить! Оттого-то я сюды, к реке, и подался. Брательник мой, Ваньча, тот дома, грит: от могилки сродной ни шагу! Мол, буду в городе мозоли натирать. Ну. А я вот – сюды… Подался-то подался, а толку ни на грош. Ума не приложу, деять што? Та ж маета. Не иначе, как зря всё. Надыть Зарудного, Сеньча, искать, да под евойную защиту итить. Рази ужо на свете божьем трепыхамся, то и жить горазд надыть, ну. Верно думекаю?

Помолчал малость, пожевал губами невысказанное что-то, застыл… с выражением обиды нареченной на лице, потом тихо, надломленно продолжил:

– Седня ведь в аккурат пятая годовщинка батянькиной кончины. Вот и решил помянуть с тобой, Сеньча. А что душу изливаю, так не обессудь! Не всё ж нелюдимить, не до самого ж отшествия в мир иной! Возьми вот, на-ка, хлопни!..

Вынул из торбы невеличкой, в ногах, бутылёк, початый, стакан, свёрточек – движения уверенные, замедленные, скупые… Оглянулся…

– А те, пострел, чевой тут надыть? Ась? Чё ошивашься тут? Глянь-ко, Сеньча, што за образина така! Да ты, харя, не проказный часом? Ну-к, вали отседа, да шибчее! Ещё нас заразит!

– Не пужайтесь, дяди! Энто меня в Старой Кандале тако. Слыхали, небось? На всю жисть зарубочки. Потому должон я Зарудного сыскать. Она мне заместо отца родного. Ну.

– Ты вот чё, паря, языком зря не мели. Те скока годков? Чьих кровей бушь? Могешь чево?

Всё это время Сеньча практически не проронил ни «гу-гу», со стаканом в руке то на подошедшего, то на дружка своего, Григория Луконина, кстати(!), зыркал.

Глазов ответил не сразу. Кивнул Сеньче сперва: мол, пей, не дивись-не давись, а то ненароком расплескаешь, до рта не донесёшь стопарик-то. Затем, важно, слова разделяя, интонацией подчёркивая самые, на погляд его, существенные, главные, начал:

– Четырнадцатый. Зовите Анатолием. Рабывал на ватагах… кимряком был… подсобил кой-кому мельничку смастачить – большо, по плотницкой части… Да и по мелочишке не промах, сгожусь!

– А жиганить могешь? Ты, погляжу, дюжий не по годам! Ась? Грю, дюжий шибко!

– Шибко не шибко, а коль выйдет сшибка, позрим, большо!

– Доводилось, поди?

– Всяко бывалоча. Токмо ты, дядя, зубы мне тово, не заговаривай!

– Мнда-а… Ну, так как? Жиганить на «ГРОМ» пойдёшь? Работёнка ломовая – черновая да грошовая! Мне как раз помощник до зарезу нужон. Надумаешь ежли, приходь завтра. С ранья приходь. Вот сюды прямо и вали! Сведу тя с капитаном, приглянешься ему – возьмёт на борт. Кочегарить бушь, по Лене походишь… А тама, мобыть, и дёру вместях дадим, в обох, грю, разумеешь? К Зарудному. Я-т тя припомнил… Ну.

– Цыц ты, непутёвая башка!

– Ну, о-от. Заладил! Дык ты ишшо не хлопнул? Ну, мы, брат, про такое не договаривались. А парень этот наш, наш, я ево хорошо помню. У Авдотьюшки одно время жил, верно ведь?

– Угу… И щас захаживаю.

– Так што вот так вот, «УГУ»! Ежли насчёт «ГРОМА» надумаешь, к завтрему милости просим. Бугаина ты – ого-го, на все двадцать, а капитану нашему сильные нравятся, глядишь, под руку попадёшь – возьмёт!

Словом, Толя ушёл от них обнадёженный. Правда, Сеньча, исподлобья да искоса посматривая на обезображенное лицо парня, больше отмалчивался, хорошо хоть, что не «цыцкал»… Поведением таким в ком другом непременно заронил бы подозрительность, суждение в слабохарактерности и странности откровенной своей, однако Толя был человеком верного склада: сызмальства умел различать в людях порядочность, фальшь, иные качества, сам же никогда не кривил душой.

На следующее утро, ни свет ни заря, опять на пристани был. Сонно и славно поплёскивали у бортов лодчонок, судёнышек разных, к пирсу скрипучему ластились упругие, холодкие волны, от воды тянуло свежестью, запахом далёких солёных льдов… Поёживаясь, мальчик оглядывал пришвартованные берлинки, завозни, поромы, уженки… «ГРОМА» не находил. «Не-е, не солгал! В жисть не поверю, что за баглая приняли да обуфонили!» Перед мысленным взором паренька стояло открытое, прямое выражение лица того, с кем только вчера общался накоротке (не знал ещё, что это был Григорий Луконин, известный в среде своей да и вообще у портовых всех исключительной обязательностью и порядочностью). Потому и решил ждать, надежда ведь помирает последней! Ни слухом ни духом не ведал Анатолий, что глухою ноченькой нонешней, покуда сам он дрыхнул мертвецки на поленнице, «ГРОМ» с якорька снялся и сейчас, в канун дня разгорающегося, уже верстах в тридцати с лишком от Ярков пенную борозду «ложит» – под всеми парами вниз по-те-чению жмёт, испытывает себя перед дальней

дороженькой речной. Не знал, увы! А Григорий Луконин, вкалывая в машинном, у топки, нет-нет да вспоминал мальца вчерашнего, который оказался одним из кандалинских – вроде как наобещал в три короба, а на деле… «Не по-людски вышло…», думал, отирая грязной ладонью грязный же потище со лба.

Светало ещё скорее, чем ночнело в краях сибирских – и для глаза местного вовсе неприметно. Прозрачной тонкой плёнкой подёрнулась мироколица, ясной, чистой зарью наливались изнутри дали дальние – просторы, суземы на том бережку, и чешуйчато подблёскивала, пуще прежнего мерцала весноватая рябь реки, оченно тихой, степенной, под перламутровыми покровами своими наверняка скрывающая и омуты, и заверти, и тайное тайн, извечное, как память её.

Четыре дня минуло после отплытия внезапного «ГРОМА», а Толя всё ждал, ненадолго покидая пристань, чтобы подработать малость на собственное пропитание, да Авдотьюшке подсобить, ждал, попутно расспрашивая люд портовый насчёт пароходика этого. С одним, с другим переговорил и выведал, между прочим, что «ГРОМ» представляет собой плавучий дворец-музей и принадлежит Горелову всё тому же, а капитаном на нём – некто Мещеряков, и что Зарудный Иван гдей-то во глухих борах скрывается, да не прячется из-за боязни великой, но сбирает народ сибирский для схватки решительной с окаянными режимщиками. Кстати, Луконина многие знавали, отзывались о Григории Кузьмиче с добром – отседова само собой вытекало, что он, Толя, просто обязан был повстречаться с машинистом и через последнего, с помощью братней, плюс оказии маненькой – фарта! – дай Бог, непременно сыскать Зарудного. Конечно, не чурался Толя и других каких возможностей к Ивану след проторить. В любом раскладе без Зарудного он себе дальнейшей жизни не представлял. И даже не в том дело было, что уж больно полюбился ему этот Человечище – берёг в сердце воспоминания о днях, когда тот, ни жив ни мёртв, в их доме отлёживался, когда мать, Тамарочка наша убиенная, за беглым доглядала, когда Прошка с ним играл и ручонками нежными больные места гладил – залечивал, когда много чего нового, интересного рассказывал им Иван вечерами таёжными под завывы ветра да потрескиванье уютное чушек в печи (топить не переставали, ибо к ночи студёно, знобко становилось, не взыщите, такова весна!)… Нет, не в этом дело было. Не только в этом. От Ивана исходила цельность, самодостаточность, веяло пониманием главного в жизни, в чём Толя хотел разобраться также и шагать затем верным, правильным путём. Конечно, он чувствовал себя почти счастливым и сейчас, думая о… далеком ли прошлом, возвращаясь памятью *туда,* в коротенькое детство своё, он разве что не блаженствовал, не умиротворялся, хотя и постоянно ощущал осадок нехороший, с горчинкой. Осадок смутный и безымянный пока… Э-эх, прежняя жизнь! Розовая явь, холёные мечты… Мы остро, больно переживаем радость колкую в груди и неосознанно, инстинктивно отодвигаем от себя новый, наступающий без продыху день-деньской… Боимся заглядывать в грядущее? Забегать вперёд? Кто знает! Может, отдаём отчёт в том, что завтра будет не так, иначе превсё и, главное, вряд ли лучше, краше, чем вчера, в босоногом детстве – в том сладко-кисло-горько-солёном несне… Ах, как наивно, светло, чисто было-то… До умопомрачения здорово… хорошо… Как будто самая заветная грёза осуществилась давным-давно, а потом, после, *сейчас* – ни-че-го. Другие синицы в руках – крупные, телами трепетными, зрелые вполне и к тебе, к груди твоей непременно прижимающиеся – мол, держи нас крепче, не оброни-не выпусти на ходу всём твоём!; да-а, иные синички-то проходу не дают, а журавлик, журавушка прямёхонько из детских чудненьких денёчков наших летит-парит непостижимо, непостижимо и недостижимо, и дотянуться до него нам не получится более – никогда… Толику же, Глазову подвезло-таки: попал спустя ажно месяц на «ГРОМ» и бок о бок с Лукониным стал уголёк в топку щедро валить-закидывать – а что? Силушка в наличии? Попахать не грех. Кабы харч погуще, то и подавно за троих справлялся бы, ведь Григорий Кузьмич могет, а чем он, баглай, хужее? На крайняк за двоих у него всегда выходило, ну, и тут промашки не станется. (Баглаем Толяна когдысь ещё мельник Тропыч кликал – Тропыч,

ибо долго хаживал по свету белому, с законом не в ладах был, с годами кое как разобрался, а после всё искал, искал свойное дело, по душе чтоб! Заимел таковое, да, но и вёрст перемерил многошенько, правда, повторить должно, не валился с тропы, отчего и получил ярлычок нежненький сей!]

«ГРОМ», как и приисков десятки, банков, угодий всяких, дорог, заводов и заводишков о две-три трубы принадлежал (также повторить особливо стоит!] Горелову и являлся единственным на Лене большущим прогулочным пароходом, сделанным на заказ в далёкой Америке. Капитанил на судне в прошлом офицер морской Мещеряков – человек до мозга костей военный, бывалый и норову крутого, упрямого. Если бы со здоровьем в порядке было, глядишь, в большие чины выбился, поскольку морскую науку знал туго, досконально, авторитетом пользовался непререкаемым и в кругах, что адмиралтейских, что пароходства (им же, кстати, в Сибири и созданного с благоволения высшего!] уважаем безмерно был. Его слово для всех и каждого законом являлось, ежели, конечно, произносилось оно на борту судна, с капитанского мостика. Не премину отметить: сие относилось и к самому Родиону Яковлевичу, который частенько во дни ли навигации, в какие иные, на свой страх и риск вверх-вниз по речище челночил, благо крепостью-статью корабль сей отличался весьма и весьма выгодно от хилых собратьев меньших. В удовольствие, со дружками-неконкурентами именитыми, с особами царской фамилии (а вы думали!!], с «шагалихами»… Короче, флотский волк Мещеряков был гордостью «ГРОМА», был подстать «ГРОМУ» и порой казалось, что судно, аки существо живое, само выбрало в капитаны себе Николая Николаевича. Нашло, присмотрелось к офицеру – и выбрало! И не ошиблось, не разочаровалось в выборе.

Мещеряков с первого же погляда Толю зауважал, проникся к нему симпатией, потому без раздумий долгих взял на борт – помощником Луконина. Помимо Григория Кузьмича в экипаж «ГРОМА» входили рабочие и мастера других специальностей, числом двенадцать человек. Все они составляли крепкую, сплочённую команду, в которой *наш* сразу же почувствовал себя родным, желанным. Объединяла людей общая долюшка: вкалывать без роздыху посменно, надежды на лучшее завтра лелеять… Справедливости ради, добавить важно: Мещеряков пот из подчинённых своих не выжимал и относился к ним *профессионально* – то бишь, требовательно, строго, но и с пониманием, значит.

…Изнуряла в низах работа Григория Кузьмича. Хоть и был двужильным, точёным, да жилявость эта в последнее время шагренью подсократилась: выбивался из сил мужик и говаривал любое своё «на энтовом свете не устанешь, так на том не отдохнёшь» уже без бравой лихости-ухарства. Молчаливее, замкнутее стал – невосприимчивей к крохотным завалявшимся ли? с чужого стола перепадающим реденько житейским радостям.

Люд чёрный, он таков! Тянет-потянет лямку бурлацкую, скрипит зубами, а как подожмёт… припрёт возраст да в придачу к нему утома зрелости почтенной как нахлынет волной окаменевшей, так сразу взыграет внутри жёсткое и угрюмое протестное «Я» и тогда ничто не заставит, никто и ничто не заставит мужика корячиться, надрываться. Конечно, он ещё повайкает маненько, но скорее по инерции, а самое страшное: в исступлённом мозгу, в сожжённой душе не останется местечка живого для того, чтобы какое там журавли – синие пташечки скромные гнёздышки «тама» вили… Тем паче, когда один на светушке белом ты – перст перстом один! Огрубеет, очерствеет сердце, останется в нём единая страсть незаманная – напоследок хотя бы по-человечески пожить! Оттого и сподвигся Кузьмич (пока только в мыслях!] к Зарудному дорогу искать. И, поминая намедни годовщину энную «батькиной кончины», самосидки глонув, оттого-то и разоткровенничался!..

Толяну тяготы пудовые нипочём были! Работал споро, жадно, зло и каждую минутоньку свободную стремился на палубу нижнюю, на дек, который, слыхивал, Мещеряков по привычке разве что не гвардейской, но боевой однозначно, орлолпдеком величает – есть такое… пространство на боевом корабле, вот капитан и пользуется обычной своей лексикой флотской.

Один раз скоб-трапом и выше поднялся, чтобы, значит, видеть дальше. Глазами пожирал берега реки в надежде зыбкой след-примету какую в отдаленье сыскать и чтобы о Зарудном Иване подсказала она. «Дым от костерка хоча… – думал нетерпеливо, впиваясь в марево, в парящие безвесно и безвестно по оба борта, по сторонушки обе, словно подрубленные, крылья тайги – большо, есть же кто, ну…» Увы, тщетно! Ничегошеньки не мог выглядеть, да и ничего за марями призрачными не пряталось, не хоронилось, окро-мя одних и тех же лесов, лесов, лесов… И – опять лесов, что скалы да бугры расцвечивали… Тогда решил он на пути обратном крепко с Кузьмичём потолковать.

Первые дни плавания томило ужасно. Красноталое солнце опаляло всёшеньки в полдень знойный – молила теней облачных природа; к вечеру, однако, остыль, на осеннюю схожая, да сдобренная умиротворением, от воды веющим, брала-таки своё и враз делалось удивительно хорошо…. Прозорно, осиянно лучиками тонкими, чуть-чуть, в меру самую, тепло… наконец, просто любо-дорого… Любо-дорого… Остыль вся шла откуда-то сверху, с первых звёздочек самых – была она невидима и легка, лоскотна касаниями своими нежными, исцеляющими к потной коже и как бы просила мальчика остаться, не уходить, подолгу бывать в часы свободные вне машинного отделения, открывать для души не целованную красотищу вокруг… Красоту суровую, дикую, но за сердце берущую и отпускающую душу сразу… Серая с прожилками Лена, слюдянистая высинь-синь в огнях проточных, зеленотёмная мать-мачеха растайга… Утопая взглядом в ней, почему-то забывал Толя обо всём на свете – о хорошем ли (а много его, хорошего, видел?), о плохом, что ожесточило, но не сломило характер, эдакий стержневой штырь не согнуло в дугу – напротив, закалило сталь. И казалось пацану: ни хорошего, ни плохого, ни прошлого, ни будущего нетути вовсе… Да что там прошлое и будущее! Главного – настоящего! – и того не мог он нащупать в помине, вот ведь странно. Мира, жизни, передряг, рубцов, далей тёплых и чужих, веры фанатичной и безверия полного, человеческих исканий та-кожде не существовало! Не было ровным счётом НИ-ЧЕ-ГО.

Кроме тайги… вдоль глади речной.

А если и попадались на каком берегу избёнки, срубы, якутов незатейливые хижинки-мазанки, рыбацкие снасти, похожие на тенёта, заимки… то мнились они скорее дополнением, украсой, декоративными прелестями, а не одинокими вместилищами таких же одиноких, неминучих и неисповедимых человеческих судеб. Потому что не верилось даже, что в краях этих помимо тайги возможно ещё былиночкам людским тяготеть… Иное представлялось: нет места горемыкам под солнцем живым, лишние они на земле-власянице… что удел сынов и дщерей смертных – Христовы тяготы носить в приделах не здешних, не тутошних – в Бог весть какех!

В один из вечеров дивных, когда «ГРОМ» рокотал мерно по скатёрке лазурной-зеркальной, скользил курсом единственным в лето не бабье покуда, Толя на излюбленном пятачке своём находился, на деке – на деке, им же и выбранном, умилялся панорамой проплывающей да тягучую думу пытал. Внезапно закашлял, заурчал с перебоями двигатель – замер-заглох, подавился будто милями, позади кормы которые, либо перед бушпритом (на пароходе всё напоминало настоящее морское судно!), что стрелой нацеленной указывал направление на север… И тотчас ошпарила отовсюду безгласица немовейная, прям-таки колокольчики в ушах зазвенели! Несказанная, невыразимая тишина с поднебесья ширного, с Лены-тайги стекала за борт и… она же на палубу парохода восходила-вплывала и вновь струями мощными, незримыми, словно власы девичьи призрачные-угадываемые, оттуда на плечи реки ниспадала, где средь волн исчезала, чтобы опять воротиться и – до бесконечности так… Она, немота сущего рядом-вокруг, то поплёскивала реденько, то дуновениями нежными обвевала лицо, то звуком случайно оброненным, откровенным шептала: многолика и прозрачна я… найдёшь, что душенька пожелает в мгновении каждом отдохновенном нашем, только не проворонь, слышишь?.. Но вот, через ми нуту-другую, исторгла вдруг стогласье цельное. По ней, ж-жив-вой! застучали, будто по

наковальне, рабочие, спецы от механики железной, к ремонту срочному приступившие – переродилось молчание. Забурлило, заклокотало на десятки ладов, снова впряглись силы лошадиные и поволокли со скрежетом, с монотонностью, лямочкам-бур-лакам подстать, вдоль берегов обрубистых тайги по большой воде пароход – воротилось всё на круги своя, недолго трудяги колдовали-чинили. А Толя стоял, стоял… – не мог забыть тихости и кротости мира, коих не ценил-не замечал прежде, о чём просто не догадывался. Ведь вот что странно: человеку-то, оказывается, для полноты чувственной, для души человеческой же(!) потребна малость самая: капелька росы на стебельке, глоток тишины искренней, возможность шажок чуточный в сторону от стези сделать. И – в беличье колесо!! До умопомрачения!! Выматывая жилы, разматывая свойный клубок нервов!! Опять. Опять, опять!!! Дабы не отстать якобы от жизни загребущей… И ещё: упиваясь тишиною, завороженно и даже одичало сердцем к ней стремясь, подсознательно, неизреченно проникся он, Толя, смутной, до конца не оформившейся *живой* мыслью, что тишина эта сродни сосуду драгоценному, в коем ТАКОЕ!!! храниться должно, ТАКО-О-ОЕ… – и уж, по крайней мере, не стук молотков-топоров и гаечных ключей!

…Спустя недели две после начала плавания столкнулся Толя на палубе нижней с девчушкой голубоглазой – дочуркой единственной Горелова, наследницей миллионов его. Была она вся в белом, из-под шляпки и вуали, паутиновой будто, на самом деле плотно-муаровой, но с отливом настолько волнующе-волнистым, легчайшим, что казалась сотканной паучком-добрячком; из-под них струились на лобик прямой, чистый, на крохотные плечи золотисто-каштановые локоны, показалось Анатолию, вьющиеся и – а это не показалось, ибо воистину так было – до волосиночки кажинной ухоженные, на подбор… В руках девочка держала куклу необычайную и певуче лопотала ей на ушко секреты заветные… Толя неуклюже, рывком посторонился, незнакомка с грацией премилой реверанс сотворила, потом, улыбнувшись, куда-то дальше поплыла… сказочное диво… фея… а он вослед глазел и поражался, и не чувствовал под собой палубы, сердце стучало, тукало и вокруг комочка впечатлительного ширилось что-то новое, странно-хорошее, трепетное, отдалённо напоминающее то чувство, которое охватило мальчика ни с того ни с сего во время поломки недавней в машинном отделении, когда спустилась с неба тишина… не так ли осеняют крылом божественным, ангельским, ибо нарастает томление в груди и невесть откуда вот-вот придёт СЧАСТЬЕ… ну, пускай не само оно, его прообраз, первая ласточка, – зато свыше и по зову тайному, выстраданному… И не нужно имя искать – Лебяжечка оно… Произнеси, не стесняйся умилённости, ласковости – их нам ой, как недостаёт!

Бугрятся мускулы; гарь и пекло адовые; грохот-гуд огня; бесноватые блики полымей; восьмого пота нет; угля сажей не замараешь; мозоли роговатые в пол-ладонищи; лопата жвых, ж-жвых!! железо клокочет-переворачивается в утробе механической; окалина брызжет, ревмя огрызается шипением стозмейным, вспышисто бьётся в нутре – не подступись!; Кузьмич крякхтит, сволочится; пить… пи-ить… а некогда, нельзя и мутится, черствеет рассудок; дрожь, вибрация сквозь стопы обе до кончиков ногтей аж… что ещё??? – Толя пахал нещадно в чаду, нахраписто, угорело пахал и помнил, хранил в душе тишину ту благоговейную – паузу! – равно как и видение прелестное, стан-силуэт лилейный… мечтал о встрече новой-случайной с прекрасным, молочно-берёзовым чадом, реверанс невесомый девочки вторично лицезреть… локоны шелковые кончиками пальцев своих осязать (сам себе в этом не признавался!]… ненароком… а что?., а что?!. Почему бы и нет?..

Бездыханная лепота, когда остановился пульс в организме стальном «ГРОМА», девчушка сказочная, личика которой не разглядел, заприметил лишь беспредельность, что ленится в очах, вызрил власы – кудель позлащённую? струи водопадные словно, спереди чёлочкой… – всё это повторилось необычно, странно… Так возвращаются хорошие, добрые сны, если думать и грезить о них, тосковать сладко и ждать, ждать в восторженном забытье…

Был вечер призрачный, воздушный… сквозь вязь волнительную волн, широко, выразительно и неотделимо от глади водной проступающую наружу, издающую плеск мягостный, пленительный, сквозь толщу омутовую и текучую во глубине тёмной-непроницаемой взору… сквозь что-то ещё, словами неописуемое, угадывалось, виднелось чуть-чуть… лицо Лены – переливающийся абрис отрешённости вековой от мировых скорбей, страстей, страстишек… И не лицо, – лик! Лик, готовый принять в средоточие, в лоно своё Толину тоску-печаль… Лик, лик, готовый до штришка, до былиночки донной явить собственное сопереживание-таки, не равнодушие, не отринутость внешние, кажущиеся, а именно сострадание человеку… В возвышенные минуты, о которых речь, Толе показалось, что Лена и есть та самая девочка, изображение коей застало его внезапно, когда находился на деке, и тогда же, в мгновение ока, предстала незнакомочка ему *вся,* словно сфокусированная силой небесной на тончайшей плёнке блискучей и ею же, пелеринкой сей, подёрнутая, занавешенная, будто вуалью, фатой газовой… Два образа – родная река и чудесная девчушечка – слились в сердце… Он обомлел. На него необычайно сильно подействовало увиденное и… услышанное – воротившаяся вскоре тишина… Итак, он стоял на деке. Отовсюду веяло заунывным и щемящим – веер ли? парус белый? несли встречь токи освежающие, тёплые, искренние. В глаза же ему смотрело изумительное, алмазинке чистородной подобное личико вполне обычной земной девочки, и настолько озарено оно было закатным огнём, что даже зыбкая, колышащаяся мерно вода под килем не могла смыть очертания губ, носика, лба с аккуратной чёлкой.

Веяло заунывным и щемящим… веяло чем-то солодким, дрёмным… по весне ласково-мерцающим и облагораживающим пилигрима любого. И красиво-неповторимою делалась грустинка невольная, поднимающаяся надокрест и – парящая? обволакивающая? обдающая?.. Красиво-неповторимою и до конца нерастраченной… Успокаивала, укачивала, будто это кручинушка тихая, не чувство неизъяснимое, а колыбель для души…

Да, он обомлел. Баюкался на волнах качельных «ГРОМ», мальчик от непосильных трудов праведных передых себе организовал, а лицо девочки, которое романтичная натура его приняла было за Лены лик, восходило к нему… длилось действо фантастическое секунды считанные, но впечатление производило неизгладимое. Дрожью-трепетом проникся Толя. Что, что было это? Галлюцинация?? И в момент, когда прикоснулось бесплотное нечто-распрекрасное к Толе, когда глаза в глаза сошлись оба, рухнули в никуда, в тартарары монотонные шум-трескотня машинные, исчезла вибрация, легчайшая здесь, снаружи, словно совсем пропала некая сеточка металлическая, наброшенная невидимой рукой на остов судна, – безмолвие вновь обуяло мир. И вздрогнул Толя… Провалился в пустоту невыдуманную… Оглушённо стоял, буравя толщу водополую… Пот градом… «Что, что сталось? – думал он, а может, не он, может, думало что-то вовне его и заставляло учащённо биться пульс… – чур, чур меня!!» Сам же продолжал шарить глазами по пучине стелющейся, успокаивающейся… Увы! Увы, померкла мара, божественнный идеал (не иначе!) стаял-пропал, и только мнился след незримый – недостающего лица зияющий оклад… Странно… Ничегошеньки-то и нет…

Но что было? Неужели и впрямь – галлюцинация?!

И наваждение не кончалось, нет! Анатолий отчётливо понимал: пусто, плавно за бортом, лишь его собственную тень, ломкую, несмываемую, лйзывали волны, волны, волны… Эх! Была бы Лена не рекой, а живою девонькой, то наверняка бы сердечко ейное распирало всё то же непостижимое чувство приподнятое – противоположное ревности оно!..

Плыл вечер, солнечный и смуглый… Вечер, когда повторились красота одухотворённая и тишь завораживающая только для него будто. Повторились и околдовали… Щемящую жажду души не избыть! Ему, очарованному, немедленно, срочно, позарез! нужно было увидеть ту самую девчушку, иначе, он знал, произойдёт обвал – рухнет мир!!! Загнанно колотилось подростка сердце, кровь прилила к щекам, щёки горели. Не ведая, что делает-творит, поправ приказ строжайший Мещерякова «на главную палубу – ни ногой!», Анатолий решительно ступил

на сходень, рванулся наверх, туда, где жили, гуляли, бесились с жиру и по-своему несчастны были другие такие… и не такие человеки.

Махом пересёк дек, – выше, выше…

ОНА была одна – вся в червонном вечере – на палубе и мечтательно, нежно, ласково-кротко с озорнинкой и непосредственностью смотрела перед собой – на него. Толя впился глазами в сон-не сон: да-а… фея Розы в обрамлении дикой, за четыре предела уходящей и благоуханной вовсю чаровницы-весны поздней… на фоне Лены… едва читаемых вдалеке из-за разлива необъятного чащоб, скал, просто каёмочек береговых… и снова тайги, тайги, тайги… без чего вообще немыслима панорама сибирская…

Завидев Толю, девочка вздрогнула, но в лице не переменилась – по-прежнему куколкой разве что не фарфоровой в упор глядела на запыхавшегося, чумазого, как чертеняка, пацана и…

…и теперь он смог её получше изучить, открыть… Малюсенький курносик, тонкие губки, глаза, просто глаза, обычные, с капельками печали на дне зрачков… словно две слезиночки, две пронизи, два королька влажных применились туточки… два светлячка! придавших умильное и доверчиво-доброе, с наивинкой, выражение лицу и невольно примагнитивших к себе сторонние взоры… Ямочки-яблочки на щеках с родинкой робкой, едва заметной, будто пальчиком кто взял да и придавил чуточку самую кожицу-то молочную в загаре пеночно-песочном, первом… Подбородок овальный, крохотный… Вот и весь, собственно, сказ, портрет весь. Однако было в облике девочки что-то такое, необычайное, таинственно-летящее, но и с личиком этим неразлучимое ни при каких, казалось бы, обстоятельствах, что-то не по годам ей и что не просто притягивало – втягивало, погружало в бесконечность свою матовую и в чём разобраться с первого раза невозможно было никак. Измученная, обессиленная красота…

– А я вас уже видела! Раньше встречала! Вы внизу работаете – и после молчания минутного (не замешательства!) – вы всегда чёрный такой? В саже?! А это что на лице у вас? Вам больно, больно? Хотите, я скажу папеньке и он велит Филе, ну, доктору нашему, Лазарет Лазаретычу, вылечить вас? Хотите? Папенька мне ни в чём не отказывает! – тут лицо её, нечаянно ли? подёрнулось от глаз идущей завесой дымчатой измученности и бессилия ранних, на грустиночке замешенных и подмеченных остро Анатолием… – А хотите – и снова просветлело небесно – я вам сыграю «БАРКАРОЛУ»? Хотите, хотите? Но сначала вам нужно умыться!

Вынула из нагрудного батистовый платочек…

– Погодите-ка!

…послюнявила его, к Толе шагнула, на цыпочки привстала и приложила лоскутик белейший ко лбу мальчугана, затем кончиками пальцев, «подушечками», по горящей его щеке провела – осторожно, мягенько. В изумленьи:

– Вот я сейчас ототру, поглажу и ни капелечки больно не будет! Ага?!

Так и сделала, после чего взяла по-хозяйски Толю за руку и повела его, не упирающегося, за собой, в сказочный Сезам, лопоча по пути о том о сём, чем ещё больше смутила послушно идущего подростка.

Самое время добавить: «ГРОМ» служил Родиону Яковлевичу верой и правдой не первый год и оборудован, отделан был, особенно внутри, по классу люкс с плюсом-воскликом, на любой вкус, на натуру с откликом! Убранство кают, салонов многочисленных, перепланированных, где-то соединённых, а где-то и образующих анфилады в местах для оного изначально не предусмотренных; смешение стилей, нечто вроде эклектики; нагромождения фолиантов в шкапах разнообразных по форме и размерам; обилие блеска золото-хрустального, лепнины, антиквариата и далеко не безделиц отовсюду поражало самое изысканное воображение и удовлетворить должно было необузданную любую страсть-фантазию. Поставцы с резьбой… ковры восточные… клетки с птичками… аквариумы с рыбками… Диваны-кресла, работы ручной и лаком сверкающие, покрытиями забранные… вазы, иные в рост человека, гобелены, свечи в

подсвечниках и в канделябрах витиеватых, люстры ажурные и массивные, иконы-иконки вперемешку с картинами, полотнами передвижников (и всё оригиналы, оригиналы!], а перед окладами – статуэточки, фигурки нелепые-лепые, россыпи экзотических заморских «штучек-дрючек» на стеклянных, мраморных специальных стеллажах, подставках… Полочки, полочки, полочки, заставленные чем попало, чем попало! но – то ли из минералов-самоцветов уральских, то ли из стекла венецианского, то ли – дерева эбенового… А на стенах, вразброс, хаотично и вместе в хронологии, последовательности просматриваемой: оружие древнее и старинное, доспехи рыцарские времён людовиков, карлов, наполеонов… и на поверхностях резьба, инкрустация, чернь, виньеточки да филигрань с эмблемами! Огромные шахматы – слоны из слоновьей же кости, шахматы поменьше – на клеточках выстроенные перед парадом ли, сражением генеральным бронзовые ополчения… Одеяния – камзолы, шитые золотом, нечто непонятное-удивительное с позументами, что-то совершенно нерусское, но сплошь в бисере, в стеклярусах, а неподалёку – родные сарафаны ситцевые… шелка, пан-бархатные платья и на столиках – головные уборы, короны, также салфетки камчатные, орнаменты, вязание и кроены необычайные в простоте именно, спокойствии своих на фоне кричащего пира-ампира, ибо невесть сколько античного и под старину размещалось тут… Пестрота тонов, цветовых гамм, смешений-смещений откровенных множества оттенков, колеров, дисгармоний, вплоть до насыщения плотного фарблёного стекла казались несопоставимыми хотя бы по причине кучности их и радужности не к месту… Изурочья по серебру, фарфору тонкому-китай-скому, росписи по дереву невиданных пород, шкатулочки, шкуры с выделкой на полах и прямо на ворсе по щиколотки, бутыли с винами коллекционными-выдержанными эпох минувших и непременно искрящиеся в светах льющихся, штуковины механические-заводные (о чём Толя позже проведал] и в нескольких ящичках причудливых под стеклом створчатым-раздвижным – каменья крупные, драгоценные: опалы, в том числе чёрные, редчайшие! жемчуга в раковинах и просто на песчаных подстилочках, рубины, алмазы негранёные, сапфиры да изумруды… опять же бок о бок с яшмой, малахитами, александритом – не от хозяйки ли медной горы подношения… за что вот только?! В большущем, замыкающем анфиладу целую помещений каютных салоне Анатолий и вообще обомлел. Как минуточек пару назад, хотя ему-то казалось, что в Сезаме дивном пребывает вечность целую…

Посреди залы настоящей, выложенной мрамором белым в прожилках голубоватых, на возвышении небольшом стояло… – что это?! Гигантское снежно-ангельское крыло? А второе где же?? А может, колоссальных размеров серебристый, светлозарный лебедь?! Или… Толя не мог уразуметь. Утопая в пушистых разводах напольных, бороздя вслед за девочкой невиданное доселе, он инстинктивно вобрал голову в плечи… зажмурился даже… Озирался если, так с восторгом мучительным – был раздавлен… вознесён!! С него хватит… Но что это? ЭТО… переливалось, сверкало, излучало силу магическую, метало искры-молнии, разило огнём-жаром чермным, бросало в дрожь похлеще, чем изображение на волнах, недавнее, но уже почти позабытое, отодвинутое на второй план за время скоротечное «экскурсии». Что ЭТО?.. ОНО притягивало – отталкивало великолепием пышным…

– Садитесь, садитесь! Прямо сюда вот… Что же вы?

Управляемый девочкой, не сразу, но таки послушно присел на краешек стульчика с оббивкой в розочках глупых. Он спал, он боялся, что сей миг очнётся, выйдет из паморочного забытья и улетучится, развеется многоцветье, исчезнет волшебство фееричное, сгинут чары неземные сна, грёз наяву… а их место займёт огненная пасть топки, лопаты ж-жвых, восьмого пота нет, угля сажей не замараешь… что «тама» ещё?!

– Слушайте!

Не-т, ЭТОГО он уже не мог перенести!

Ноздри его раздулись, затрепетали…

Никогда, нигде, ничего подобного он не испытывал.

Билось и не билось сердце в груди. Сердце больше ему, Анатолию, не принадлежало! Было во власти ЭТОГО… кощунства родного!!!

Самая родимая боль…

Самая желанная тоска…

Что же ЭТО???

Оно вырывало сердце – из сердца сердце! вырывало, оставляя мякиш полый, который не в силах был сопротивляться. Мотыльком преданным ОНО металось, неслось к огню несуществующему и вместе с тем полыхающему – но вот где, где?.. Обжигало, воспламеняло неизведанной прежде страстью, лучами мощными и незримыми… Ненасытно было, о-о, как ненасытно было ОНО, ибо возвращалось, возвращалось (а уходило ли вообще?), вернувшись же на останки бренные, на мякиш, зашедшийся в пульсе, в рыданиях, *в ожидании возвращения этого,* снова и снова набрасывалось с приговором бессмертным своим, вновь и вновь выкорчёвывая из плоти живой суть, ипостась, чтобы опять и жестоко вырваться прочь, выгнетая, изнутряя донельзя обитель души, но и даруя невыносимое счастье вечного высвобождения такого – сердца от сердца, сердца от сердца! сердца от сердца!! Даруя бесчисленное количество раз и по нарастающей… Агоги…

Он чувствовал: плачет. Боялся шелохнуться, ничтожный, беззащитный под напором медовой и полынной чистоты, в пламенах жгучих и нестерпимых…

Но качался мир, влекомо и притягательно звучала музыка Петра Ильича Чайковского и он, переродившийся, встал… Он видел ЭТУ музыку. Так прозревают слепцы. Нежно-нежным крылом забилась она о брег сердешный и словно отозвались эхом многоголосым зазывные, тёплые дали – во черни[2], мшаринах, в кровавых разлучных слезах и с памятью светлой, святой… о завтрашнем дне.

Толе казалось: летит, парит в струях наплывных, стозвонких – встречь судьбе. В счастливый придел!..

Он – шёл. Неосознанно. К девочке. К роялю. Выпучив глаза, вздёрнув руки (по-шатунски – лапищи), тотчас опустив их, потом за голову схватившись и шепча губами молитву незнаемую, на алтарь Музыки приносимую…

Он НА МУЗВІКУ ШЁЛ!..

…остановился инструмента подле, взглянул на клавиши, на ручонки принцессы – испариной покрылся лоб, дрожь в коленях не унималась… Молчал, внемля…

А музыка продолжала звучать.

Ах, как же звучала она! И не было ничего вокруг, в нём самом – нигде, никогда и ничего, оказывается, не было и в помине – ни этого огромного плавучего музея, ни Кандалы Старой, ни тайги, сквозь которую широко и плавно струит величавая Лена, ни Зарудного. Ничего, кроме невесть откуда взявшейся, им самим не подозреваемой его… его ли?? души – души истинной, доселе неведомой, не предполагаемой даже… кроме движения – по живому, её, души этой новорождённой, в душу старокандалинскую, всегдашнюю, чтобы поддержать сердечко-то, мякиш, который с каждым звуком всё более метался, мучался в груди, разрывался и не мог разорваться на части.

…Несколько лет назад впервые он ощутил потребу из лоскутков бересты, камушков, обточенных временем ли, волною накатистой, из молоденького и крепкого кедрача – да из чего попало, буквально всего! – разные игрушки и куколки мастерить. Что-то получалось, что-то не очень – его привлекал сам процесс, зуд в пальцах унять хотелось, да полюбоваться после на творение рук своих. Так вот, страстишка оная час от часу становилась забористее и куды-ы там испарилась? – напротив, за грудки инно брала! Не отпускала! Поделки, что выходили из-под рук золотых, ублажали малышню. Он щедро дарил детворе бедняцкой милых, забавных

[2] Во черни – в тайге

дружков, ни на что не похожих, и только «лесного человечка» оставил себе – то была наилучшая, удачнейшая работа, поскольку с особенным, радостным подъёмом, по наитию, вдохновенно лепил-вытачивал «товарища по несчастью», любил, одухотворял куклёнка, делил с ним печали и светлые минуточки редкие, разговаривал с игрунчиком и когда трудился над ним, и тем более после, ведь лесовичок всёшеньки разумел, хоть и не отвечал, нем был, нем, но не глух и охотно помогал сиротинушке… Прошкой! называл Толя с горечью сладкой деревянного небожка. И берёг пуще ока зеницы…

И вот сейчас, музыку слушая, проникся мыслью-озарением: впредь также будет разные диковинки создавать, глядишь, на хлеб-соль… хоча-а… Мысль сия стала предтечей потока иного, неожиданного. Вспыхнув, не померкнув, толкнула сознание… И выкристаллизовалось главное решение, кремневую твёрдость обрело, ясность полную и ошибки здесь, сомнений малейших не было.

Тем временем кончилась Музыка…

– А меня Клавой зовут. Давайте знакомиться!

«…а меня клавой зовут… давайте… знако… клавой зовут…»

И он не выдержал, не стерпел: вон, шеметом бросился, анфиладу, дворцовую ажно, в обратном направлении пронзив, на свет вынырнул из сокровищницы сказочной, чуть ли не прыжком – вниз, туда, где жил-пахал, выхватил из закутка, ему выделенного, «ПРОШКУ» (тот дремал прилежно!] и они уже вдвоём(!) наверх помчались, в рай запретный, где один из них, он, Толя Глазов, оставил не частицу – часть огромную себя и часть эта растворилась без остатка в звуках чарующих, в образе Лебяженьки-феи по имени «…а меня клавой зовут…»; рывком взметнулся он вдругорядь за последние полчаса без малого наверх, одним-единым махом преодолел барьеры, запреты, приказания… и, не говоря ни слова, протянул на ладони «братишку»…

– Это мне? Ой, здорово как! А у него имя есть?

5

…«ГРОМ» продолжал свой путь по широченной, в жизнь человеческую, Лене-реке.

Толя и Клава подружились. Им нравилось тайно от всех встречаться в укромных местах, которых на большом пароходе было предостаточно, заранее договариваясь о времени и месте свиданьица очередного, хотя общение дочери миллионера с простым, забитым пареньком, вкалывающем без продыху-разгибу по десять-двенадцать часов в сутки, походило на бунт против норм-приличий светских, социальных, так сказать! Толю подкупала в девочке чистота. Чистота и непосредственность. Знал: отец Клавы – изверг, но разумел также, что дети, маленькие, не повинны в грехах и преступлениях родителей. И уж подавно пороки грязные отцов не распространяются на таких вот очаровательных «маловок», созданных природой самой из упований, надежд на грядущее благолепие мира – не должны прорастать плёвела сорные на ниве нежной, богданной!.. Жизнь научила его жить: думать и поступать по высшей справедливости, не по годам мудро. Девочка представлялась ему открытой книгой без слов. Текст решил написать сам и этим бросить вызов миллионеру, отнять у него дочь. Конечно, он только подсознательно, безотчётно думал про такое и побуждения оные носили поначалу не определившийся до конца характер, однако бежали дни, пропадали за кормой мили сибирские и в сердце подростковое отчётливей и настойчивей билось желание спасти Клавушку от алчности, присущей барчукам, сохранить в ребёнке безгрешность и святость земные… «Покуда рядом – не дам сатане на растерзание душу кристальную!» – примерно так думал он, заодно понимая, что поступая столь верно, решительно, целенапористо, непременно отмстит(!] и за собственные раны былые, и за боль Кандалы всей. Не по возрасту ответственный, серьёзный выбор свой сделал не сразу. Но в одночасье. Излишне говорить, что Клаву в планы сии не посвящал и что относился к ней не как

к объекту некоего эксперимента – относился к Другу нежно, заботливо – как к чему-то сокровенному, дорогому, за что готов был биться не покладая рук, по крайней мере, попытаться, ведь ещё неизвестно, когда встретит-найдёт Зарудного… А на пароходе этом он, похоже, будет долго, не одну навигацию: Кузьмич явно сдаёт, так что… Встречаться же с Клавушкой вдали от сторонних глаз-ушей было здорово и полезно – прежде всего, для неё!

В свою очередь и Клава испытывала к юнцу, выглядевшему, между прочим, гораздо старше и мужественнее четырнадцати (без малого] лет своих, с одной стороны, робость, чуточку даже сторонилась всегда грязного, лохматого «дяди мальчика» (так она про себя его называла], но одначе скорёхонько к Толе попривыкла, а приобыкнув, приняла таким, какой он есть – в саже, с едучим, острым запашком пота, немногословного и – главное! – доброго. Доброго. Он стал для неё старшим братом – иным не представляла. Клава или не замечала нищенских лохмотьев на нём – не замечала и всё тут! или же начинала, играючи, приводить всё это по возможности в порядок: оттирала пятна, малюсенькими ножницами подравнивала ногти, стригла заусеницы, что-то там зашивала, нередко таскала ему, голодному, вкусности разные, каких он, отродясь, не видывал и не ел… Он ведь тоже был из сказки – вот что преобладало в её отношении к нему. Сказки же бывают разные и кому-кому, а взрослым это известно хорошо…

Однажды, потеряв бдительность всякую, завороженно стояли в одном из особых мест, уютно уединясь, поскольку тянуло друг к другу и противиться чувству сильному не могли. Завороженно, ибо очаровывала, околдовывала расчудесная палитра таёжная.

В радужной, слегка подрумяненной карусели брызг, пены, бликов, отражений угадывалась восторженная, приподнятая нота – всё в мире… в мире и согласии сосуществовало, дышало искренностью, томилось, искрило прямо-таки в приметах первых заувядания – лето преломилось уже… осенело… Пело, цвело-доцветало, увы, кругом!.. Солнце плавило кроны, осеняло клубы дымчато-зелёные дерев и кустарников, их пепельно-сизые вдали массивы и это делало берега более задумчивыми, рельефными. Оно швыряло со всего маху золочёную пыльцу на паутинки, дымочки летучие и те мерцали, мерцали ответно… долго… а солнце, притомившись, покрывалось налётом, надцветом аленьким, загустевало маково… уже не так ослепительно… Задевало скалы прибрежные-причуд-ливые, верхушки великанов статных от хвой… посыпало цве-томётно мириадом осколочков, дребезг, искр, згой, раззвёздною аки, и реку, и землю, и глаза прищуренные… чуть-чуть… Штрих-блёсточки ливней этих солнечных, мельтеша в бирюзе подобием крылышек стрекозиных в садах, гасли быстро, в никуда на лету канули и тогда взгляду открывалась омытая светами лучистыми, первозданная, чёткая, с исподу глянцевитая панорама далей… ближних и заокоёмных, в прогалинах внезапных-сквозящих – капелька в море, да, но какая, какая!

И с минуточкой убегающей каждою добавлялось в акварель звонкую по мазочку турмалиновой цвети – это с заходья просачивались разводы по атласу… покрова… Ложились на синесвод неба, на синьку вод Лены неброскими подтёками, тенётами уже… пеленали их в предзакатные рдяные лепестки. И багровели берега, и темнели урманы, углублялись в себя, серели нежно прогалины, долы расписные, поля-луга…

Неохватная блажь, обещание манны небесной – зарочной! – а под ними – сокровищница сокровений земных: разливы, дали, полёт в заокоём!.. Подвенечная улыбка… алая, многозначительная, многообещающая на устах чеширских словно… то тут, то там… из ниоткуда? в никуда?

Скосив глаза в сторону девочки, Толя вдруг впервые будто заметил: до чего же прекрасна Клавуня! Чтой-то себе лопочет, тараторит, потом замолкает, а на личике, в сусальных возблесках купающемся, ландышем ли распустилась, с губ ли чьих коралловых на её, детские, слетела ответная улыбка… ещё более алая, тёплая и готовая, казалось ему, вот-вот выпорхнуть с веточки, где насиженное гнёздышко души чистейшей свила, и затем плавно, тихо вплыть

под навес обетованный, под сень хрустальную, купол прозрачный – встречь безбрежью гульливому… к голубо…певной мечте!..

Бесконечно, изнутри словно, разворачивалась тайга и, вторя ей, но только не подражая, разматывалась с плеском невнятным перламутровая лента Лены, по которой неустанно, неостановимо полз «ГРОМ». Брала начало недалече – за горизонтом, вытекала из зарности палевой сразу, хотя, в действительности, долгое время текла по широтам сибирским и далеко на севере впадала в океан ледовитый, а не в бирюзовость тёмную, Фаворскую…

Но воздух-то, воздух, о-о!.. Наповал разил своею бескорыстной, духмяной чистотою. Смолистый, ядрёный, проливной, он благодатно сам в лёгкие сочился, переполнял грудь, окутывал плоть студёностью животворящей, зажигал, воспламенял кровь, бодрил дух, учащал биение пульса… – изнутри ширится, грудную клетку распирает, на крыло встает волна неосознанного до конца, счастливого беспокоя, торжественности смутной и непонятной, но от этого не менее значимой; колко постукивают в висках молоточки – это ты взмываешь и паришь словно по-над таинствами девственными, распростёртыми, приделы мирозданные обрящешь для себя, и залетевшим с краёв саянских ли, бахтинских орланом горделиво реешь в воздухе неба таёжного… – ты, человек-то!.. И зришь под собою шар земли, а не один только в прожилках реченек-рек валунище изумрудный… и мнится тебе: расколется, как орех гигантский, этот шарик родимый, расколется… и брызнут наружу соки жизненные, которые до поры сокрыты подкожно и какими напоён до краёв мир, какие подпитывают и тайгу, и небо, и Лену, и всё-всё вокруг щедро, с упоением. На озоне настоенные, на смоляном духе крепком сибирском, на кедраче да хвое вековечных… Вот такой воздух, не взыщите, такая уж благодать! Солодкая!..

…Наливалась румяной, розовела томно, вбирала вечер по минуточке кажинной час за часом, час за часом сибирская лепота и вместе с воздухом удивительным вдыхала и вдыхала красотищу эту Клава, купалась и млела в ней страдальчески-мило (Анатолий пока ничего не замечал – сам был во власти обаяния сказочного сих мест], с улыбкой уже не прежнею теплоалою, воспарённою, но с дрожащей… неверною… Нежно-горько губками вышёптывая страдание своё…

В бугристых, обвальных склонах, иссечённых, изъеденных сивинами, пробуравленных, но воедино-накрепко жилистыми корнями и связанных, причём, многие корнища те обнажены были после бурь страшенных; в зияющих, к вечеру мглистых, к тому же тенями длинными испещрённых выбоинах в скалах, глыбах, породах; в курумных нагромождениях… во многом ином что-то было надмирное, приваживающее… – но что? что?! Ирреальность бытия или, наоборот, сермяжная, посконная самодостаточность его? Кто ответ даст? Бог весть!.. Так или иначе, но скрозь суровость и внешнюю жёсткость величественных, былинных аки берегов проступало и утомление… Из монументальности абриса чёрточка за чёрточкой, штришок за штришком проглядывали почти человеческая тревога и нечеловеческая тоска…

Шло время. Новые отметины впечатывало окрест: трепетный кумач сменился кармином тяжёлым, а выше к зениту обнажился лиловатый неф с разбросанными по нему яркими-яркими сиренево-чёрными гроздьями перистых облачков; уже готов был проступить и первый звёздный эскиз – набросок, вехи наимерцающие Млечного бездорожья… Словно длань исполинская опрокинула один за другим несколько призрачных ковшов ночной акварели и та хлыном наводнила пейзажи небесные, земные, стёрла изображения, очертания… – и тебя, тебя выкрала, удалила от мира сего, человече, а куды вот потом дела, в какую пустынь отшельничью, в скит какой – не ведано, увы! да и не суть важно: разве от себя убежишь??

А время идёт… идёт…

По бровке невидимой взошла на свод вызвезданный Луна, оросила струями ясными таёжный материк, высокомерно эдак повела взорушком очим в сторону высыпавшей рати своей. Тотчас прошелестел долу намаявшийся за день ветерочек… Устал… ослаб… Сник порыв дуновенный – не ветерец-лобач! Так колышень прикосновенная шершавым, тёпленьким язычок-

ком лижет-гладит подскулья, щёки, кисти рук и в глубоко лиричной, ждущей ли манны небовой тиши сумеречно, проникновенно вышепчивает колыбельное «тс-с…», «тс-с…», «спа-ать…»

А тайга не знала и не ведала покоя! Жить нараспах продолжала, вдыхать звёздный озон, пить неиссякаемые соки землицы родной, возвращать лону телесному материнство, обнимать кормилицу корнями, тянуться ветвями к почве… да так и не приласкаться ни разу; она, тайга, скрипела, потрескивала, шелестела и выщёлкивала, ухала, голосила, подпевала самоё себе! Черемицы, подпихтовый бадан, сон-трава, багульник, майник, прижухлый уже – не май-месяц, чать! пырей, сотни других разнотравий мал мала меньше, кустарников, цветов, наконец, так и не сорванных влюбчивой молодостью, глухоманных, страстно тянулись вверх, днём и ночью, в дождь и в пекло, неистребимо источали медовую, какую-то липкую душистость, нет-нет да и отдающую спёртой прелью трухлявых гнилушек в мочажинах. И оттого в воздухе стоял особый, непередаваемый, квасно-пряный дух тайги – предтеча непременная ароматного нектара медвяного, когда начнут плодоносить цветы, хотя многие уже и стали, даруя пчёлам взятки свои… Недолго ждать натиска осеннего, благодати райской, того неуловимого часто мгновения, когда всё цветущее достигает наивысшей зрелости, но ещё не переступает межу, за коей – увядание, усыхание, прощание со свежестью до не скорой весны!

В зерцале чёрном реки сиротливо, жалко распинался двойник Луны – растекался ртутью по гребешкам плескучим, вновь в капельку ломкую собирался, паясничал, рожицы корчил своему близнецу такому же немому, что в сутолоке звёздной не затерялся, но особливую, царственную осанку приобрёл среди бастардов: ага, мол, я вона как могу, а ты покедова там, наверху, поболтайся, только гляди мне, братан, не простудись в остыни-т бездны… И смех, и грех! Хотел он почему-то озорным и бесшабашным быть, месячишко отражённый тот. Обмахивался, отмахивался веером звездотканым – не тем, небесным, а тоже отображённым в затонцах-плёсах спящих… словом, фиглярничал, в ужимках досуг коверкал, шут гороховый. У самого-т на душе, небось, кошки скребли. Да и то, говорят, всякий шут на себя шутку шутит!..

А когда забрезжило на солнцевсходье, опали-пропали пушиночки блискучие когда, – растворились без остатка в «нигде» вышнем и в «нигде» реки великой обе селены и понятно стало, с какой такой радости шпынял он себя, кувыркался-егозил выскочкой-не прислужкой. Хотел Толе и Клаве надолго запомниться, на последующие годы все. Догадывался: это его звёздный час! подозревал: случайным? не случайным, а символом двуличия являлся, как Янус… Сколько их, янусов тех, в жизни грядущей на пути обоих стоять будет…

Кончилась сказка из тысячи одной ночи, сказка ленских берегов, но осталась память. Клавина красота осталась задушевная. И ещё – повис знаком вопросительным из сердца неуёмного говор будто:

– Где, где раньше всё было?! Почему сейчас только счастьем мгновенным выплеснулось из грааля?..

Здравствуй же, утро сибирское! Толя и Клава давно разошлись – не довелось вместе встретить зачин дня нового, вдоволь над месячишком речным покумекать-посмеяться. Девочка сладко спала в постельке, лицо её безмятежно дышало, страдание же, которое на минуточек несколько исказило овал прелестный, нервная сжатость губ, перед тем, как вышепнуть еле-еле слово неузнанное, неслышимое, бесследно напрочь ушли… Что до Толи…

Бугрятся мускулы; гарь и пекло адовые; грохот-гуд огня; бесноватые блики полымей; восьмого пота нет; угля сажей не замараешь… А вот с душой, с душой человеческой как???

Выдалась минутка, опять выскочил из нутра пароходного, встречь дню занимающемуся, который ослепил, освежил, обдал!.. Глянул взакрай – а-ах!.. остаться бы там, в тех именно, справа по борту проплывающих, зарослях кедрача по-над дикотравьем буйным, в бутонах хмеля… или – на той, во-он, взгорка левее, муравушке ложечной, что в распадке росно вызванивает, мириадом «светляков» знать о себе даёт, да прикорнуть сном богатырским, а опосля просто жить, жить праведно, скромно, полезно и красиво, здорово… На земле русской. И

чтобы другим людям непременно хорошо, лучше стало от сердца твоего, чтобы тепла, теплоты вы-имной каждому перепало бы…

Доброе утро, тайга!

А утро и впрямь выдалось хоть куда. Лучистое, неизбывное, шагнуло с облачка на волну гирляндную, взошло на палубу, лучик протянуло: живи, парень, подобно «Тропычу» путь свой знайди и прошагай его от и до.

Ярче-жарче делалось кругом. В блеске дня нового перемежались дали, ещё недавно размытые, в очертаниях блёклых, спутанных, вдруг ожили, огранились чеканным золотом… грудью напирали, наползали, восставшие из снов своих забытых, силуэты, формы, предметы отдельные… и уже как-то ближе подвинулась тайбола, словно сбросившая голубую, дымчатую кожицу, зеленеть принялась. Весело, пёстро, зазнобо зеленеть, такая вся точёная, резная, *выделанная* – настолько прозорен, чист воздух (так в озере горнем сквозь толщу хрустальную можно различить на дне камушек каждый, живиночку махонькую!]

Утро… Парное, согласное, здравствуй! Здравствуй, поновление тайги! Не жалко слов…

Толя продолжал смотреть в одну, казалось бы, точку. Эх, остаться бы действительно там… Поближе узнать Клавушку – на природе, в общении с лесом, с белочками, с птичками, их голосами чарующими наверняка отогрелась бы душа девочки – тут, на «ГРОМЕ», и Толя чувствовал *это* – прикованная к чему-то тяжёлому и глухому, донимающему, хотя с ним, с «дядей-мальчиком», – также чувствовал-знал – раскрепощённая и отдыхающая… Вчера, когда оба любовались фантастической красотой здешней, он углядел-таки, пусть не сразу, то ли горечь, то ли страх, а может, отчаянье на личике милом. Тревога… Тоска… Бессилие… Да всё сразу. Боль. Просто боль. Словно что-то мучило, выворачивало наизнанку душу детскую… ломало… И когда бедняженька даже ротик приоткрыла, чтобы вскрикнуть, он тотчас:

– Сталось что? Клавушка! Барышня! Ась?..

…спросил. Поди ответь! Улыбка, что блукала дивно по губкам-то коралловым, треснула, раскололась. В глазёнках – испуг, проклятие, будто видит перед собой дьявола, не иначе.

…ПАМЯТИ ЯЗВА – ТОТ ДЕНЬ. ПРИСТАНУТ К БРЕГУ СЕДОМУ, ПЕПЕЛЬНОМУ, К МОРЩИНИСТОМУ БЕРЕГУ ЖИЗНИ

ПРИСТАНУТ ОТПУЩЕННЫЕ ПОСЛЕДНИЕ КРОХИ СУДЬБЫ, ЧАСЫ-МИНУТОНЬКИ ПРЕДСМЕРТНЫЕ… ЗАЁРЗАЕТ НА ОДРЕ СТРАШНОМ-НЕМОМ СТАРИЦА – ВЧЕРА? ДАВНО? ЭТО БЫЛО… ГОЛОСИНАМИ, КРИКОМ-ОРОМ ИСТОШНЫМ ПРИСЛУГА ЗАХОДИТСЯ, ЧТО В ДОМИЩЕ, ИБО С ЧЕТЫРЁХ УГЛОВ ПОЛЫХНУЛ, АКИ ПЕНЬКОВЫЙ В САЛЕ ВЙТЕНЬ, ОН, ВЕЛЬМОЖИЙ-СРУБ-ЛЕННЫЙ… ПОПЕРВОЙ ЗАНЯЛСЯ В НОЧИ БАГРОВО, ЯРОСТНО, ПОТОМ ПОЛОМ ПЛАНУЛ-ДХНУЛ – АЖ ЖАРКО… ТИШЬ СБЕСИЛАСЬ, ЗЁВОМ УХАЕТ… СТУКИ, СКРИПЫ… В ДРЕМУЧЕМ МОРОКЕ ДЫМНОМ – ЖУТЬ, Ж-ЖУТЬ ЗРЕТЬ СТРАХОЛЮДИНУ!!! КАШЕЛЬ, СЛЁЗЫ, ЕЩЁ БОЛЬШЕ ДЫМА… ЛИЦО… ЛИЦОВИЩЕ… «Ма-аа-менньк…» – ТИХО, НО ВДРУГ…

«МАААА-АААММММ!!!!!» НАРЫВЕН ВОПЛЬ, ОТЧАЯН ВИЗГ ЧАДА, ХРИПОЙ, РВУЩИЙСЯ… ЗАМЕТАЛСЯ… «ММ-АААММ!!!!!» В ГОРЛЕ СТОН ЗАПЁКСЯ. ЧТО? ЧТО?! ЧТО?!! ЧТО??????! НЕ ЛИЦОВИЩЕ – МАСКА БЕСОВСКАЯ, ДИАВОЛИНАЯ… БЛИЖЕ, БЛИЖЕ – ПРОЧЬ, ОСКАЛ!!! ЗЕНКИ НАВЫКАТЕ, БОРОДИЩА С АРШИН ПОПОВСКАЯ, САМ-ИТЬ, САМ-ТО… ПЛЕЧОМ МЕСТО ИЩЕТ, К НЕЙ – ко мне-е… – ПРОТАЛКИВАЕТСЯ… БЛИЖЕ, БЛИЖЕ! ВЫЗАРИЛО КАК – ЧТО ТАМ??? БУЛАТА БЛИК БЬЮЩИЙ, БЛЕСК ОСТРЫЙ!

О-О-О!!! ГРУДЬ-ПЛОТЬ ГВОЗДИТЬ НОЖИЩЕМ БУДЕТ, СЕЙЧАС, ЗДЕСЬ, ТУТ ПРЯМО… В МИГ СЛЕДУЮЩИЙ… ИЗЫЙ-ДИ, ПРОЧЬ, ОЧЬ!!! ЧУР! ЧУР!!

– …мам-м…

– Сталось что, барышня, ась? Клавушка…

Толя вопросил, «дядя-мальчик». Он-то здесь как? Где я? Ах, да… Это ведь не на самом деле… Наваждение… Показалось просто… Всё хорошо… Я на палубе, внизу речка…

Памяти язва – души протыка. До одра смертного прободень травить и мытарить Клавушкино сердечко будет. Будет! Всю жизнь, всю её дальнейшую жизнь под небом карёжить исчадно будет. Буде-е-еттт!!! Занозищей смертельной. И будет, будет!!! из самоё же себя, из неё, Клавы, страдалицы нашей разнесчастной, её, деточку, изгонять – изгонять в тое утречко раннее, когда, ни свет, ни заря, тишину кукушечную разодрали глотки лужёные челяди гореловской, когда заполошное «ГАРИМ-М!!», «ВОТА ОН!!», «ХВАТАЙ ЖО, НУ!!», «ВЯЖИ, ВЯЖИ ГАДИНУ!!» в одночасье всёшеньки в груди Клавы перевернуло. Кошмарный сон наяву.

Зарудный, Иван, тогда чуть было не зарезал малышку неповинную-невинную! Он бы их, Гореловых, всех ножичком достал для надёжи вящей. И охранники дюжие с прислугой холуйскою чету «мильёнщиковую» не спасли бы, не-ё! Для начала – хозяина с выродицей малолетней, а затем – супружницу, что во дворце сидит, чаи с малиновым вареньем попивает… Не помешали же подпалить домину загороднюю псы цепные: у него на случай сей планчик припасён был. Этте не впервой: удавить не успел. Чтож, посидишь в «блошнице» – многому научишься, коль не окочуришься прежде времени.

Эк ведь вон быват! Клаву, криком-кашлем заломанную, пожалел. Из пасти пала ярого малютку вынес, маменьке ль, кормилице (скорее – кормилице!] сунул. И почто в горящую избу рванул?? Огнь что? Сожрёт – не подавится. Но то огнь… Ему ж, человеку, чувство мести ублажить – главное. Самолично «пёрышком» ковнуть. Короче, сцапали-захомутали! Поделом сердцелюбу. Токмо всё равно не уйдёт от кары Ивановой отродьево миллионерово… Никто не уйдёт. Боженька троицу любит. Впереди маячит шанс добить всех…

Мнда-а… Клаву-т он пожалел, да взамен «благодарение» поимел лютое: сынишку с маманей да с жёнкой вусмерть задрали нехристи «придворные» – кто Горелову служит, присучивает, беззаконие на бесчестии блюдёт.

А Клава… Клава и поныне крупной дрожью дрожит, когда в мирок её нежный вламываются из глубин психики, из памяти детской секач тот блискучий да оскал в бородище… шарами навыкате буркалит, серебристым острием граючи… и дышит, дышит, почище папеньки… Сейчас, сейчас вонзит, на потроха искромсает… И кровь фонтаном забьёт из меня… – Клава содрогалась, оторопь охватывала стан, леденила душу, настолько страшно, зримо, *плотоядно* укоренились в ней боль и предсмертная (не иначе] тоска… Гм-м, выходит, по-своему отмстил маненько Иван – выкормыша буржуйского из огня вынес-спас, чтобы мучалось дитятко, а через дитятко и родичи места себе не находили. Казнились бы денно-нощно, переживали бы. Организовывали бы прогулки по Лене успокоительные… Любо, любо, так ежели. Туточки до разного дойтить можно: чем с язвой ентовой (для Ивана и для Гореловых…], не лучше ль – сразу порешить было?.. «Гм-м» и выходит! Но где правды-истины тень хотя бы?!

Мета – не мзда.

А Бог троицу любит (…сам не будь плох!]

– Сталось что, Клавушка???

Повторял, заведённо повторял Толя, участливо-встревоженно и беспомощно заглядывая в глазки, подёрнутые…

– …Ой!

Пролепетала смущённо в ответ, понемногу в себя приходя от волны накатившей, от воспоминания… Вновь улыбою стала, и лишь в очушках дотлевали искорки непрошенные, чужие. От гибельных огней которые. С неизъяснимым чувством смотрел мальчик на девоньку – чем, чем мог он помочь ей, что мог сделать для неё?? И – как?! Ведь он ровным счётом ни-че-го не ведал про *всё* про то, хотя и души не чаял в Клаве. В ней – ив Зарудном Иване.

…Взакрай глядел на мироколицу, пытался вызреть в утреннем далеке, выпытать у бескрайности таёжной ответ на вопрос: что с Клавой? чем больна? кто её так напужал?..

А по тайге, по-над Леной-рекой и выше, и шире разливался божий день-деньской и не было ему никакого дела до человеческих трущоб и трясин.

– Ты, паря, топиться надумал с ранья-т? Шагал бы вниз, я покуда посмолю, переведу дух… за двух!

И возникший ниоткуда Луконин ухмыльнулся – устало, скорее себе самому, чем Анатолию. Заросший, чёрный – зенки и зубы аки у негритянина – Григорий Кузьмич знал, не мог не видеть, что помощник его в последнее время на палубу верхнюю зачастил в нарушение правил, Мещеряковым заведённых, и ждал оказии, случая подходящего, чтобы мальчику выговорить и собственное своё недовольство обстоятельством сим – так сказать, замечание сделать, а то, не дай Бог, капитан усечёт, тогда всем несдобровать, влетит по загривок, по первое число. А ежели Николай Николаевич на принцип пойдёт, то и вовсе по возвращении «ГРОМА», чего доброго, спишет юнца на берег, а юнец, кстати, не промах, далеко не промах!

– Погодь-ка!

– Ну.

– На што тебе здалось тудыть – рукой неопределённо вверх ткнул – хаживать, што забыл тама? От греха бы подале держался, сынок! Не то… гляди мне! Капитан наш ишшо тот, спуску не даст, не-ё! Такого Зарудного покажет! Уразумел? Мой те совет: чтобы и духу твово тудыть не залётывало!

Стиснув зубы, Толя в упор – на Луконина…

…Молчал.

– Слышь, грю?! Не бычься, я же те не злорадец какой! Дело кажу. Нам, работным, друг дружке верить след, дружка за дружку горой стоять. Ну, лады, лады! Попервой я тя предупредил. Гляди так што! И нечай глухонемого корчить! Соображаешь?

– Не пужай, дядя, пуганый. Большо, сдаётся мне, ты, Кузьмич, о себе печёшься, боисси шибко, ась? Выгонит капитан меня – и тебе перепадёт, без работы останешься. А вздумат высадить – и того хужей: посредь тайги ведь! Кумекашь? Прав я, нет?! В тайгу мне и надыть.

– Вона ты как закукарекал! Сопля!

– Сопля, гришь? Соплёй и перешибу тя, дядя, надотка-бы. И с расспросами своими не суйси. Посмолить – посмоли, хм-м… А отдохнешь, когда издохнешь.

Развернулся, спускаться вниз начал, где вкалывал, но, поняв, что несправедливо груб с Лукониным был, незаслуженно обидел напарника, обернулся:

– Я ни жизни, ни смерти не боюсь, Кузьмич. И ты не боись.

…Шли, по этапу как, заколодоватые денёчки – на каторгу зимнюю, в ледащую даль сибирью. Куржавело и холоднело – пар с утра изо рта. Позади – бабьелетняя стома, да верстень по воде за кормой.

Малость погодя, когда Толя и Клава мирно-дружно на баке общались, случился с девочкой ещё один припадок на нервной почве. Без повода-причины и похлеще того, первого… Заголосила бедняга, от Анатолия отпрянула. На вскрики выскочила из недр каютных жена Горелова, Наталия Владимировна – путешествие это, самый воздух таёженный явно были на пользу ей, стала ещё моложавей, «опятьягодней» с бюстом, достойным восхищения искреннего. На сей раз отправилась в плавание с супругом – надоело сиднем в четырёх стенах торчать. Выскочила – и сразу к «доцю-ре», к «бедненькой-маленькой», к «родненькой» бросилась, не обняла – облапила!!

– Что? что ты сделал ей, что? Почему кричала так? Аж побледнела, с лица сошла… господи! Мне до сих пор страшно… Как представлю… Говори, сволочь! Образина! Говори ж, ну!!

И – наотмашь по лицу его пятернёй разалмазенной, раз, другой, норовя маникюром поглубже кожу вспахать.

– Нна! Нна! Так тебе! Так тебе!

Анатолий стоял под натиском, как вкопанный. Больше о девочке думал. И пока длилось избиение, Клава понемногу в себя приходить стала.

– Маменька! – взмолилась отчаянно, бросилась к другу, буквально закрыла его, огромного, тельцем своим – не бейте, остановитесь, маменька!!

– Стерва вы, тётя.

Сказал-сплюнул он и, повернувшись, резко, нагло эдак повернувшись корпусом могучим, зашагал было обратно, к сходням, да на Горелова с Мещеряковым наткнулся – оба вслед Наталье Владимировне вышли на шум-гам.

– Что делаешь здесь? Кто разрешил тут находиться, я спрашиваю?! Марш вниз. Я с тобой, салажёнок, потом отдельно потолкую. Век помнить будешь. Хозяин, не извольте сомневаться: щенка этого ни вы, ни жена ваша более не увидите. Уже к обеду прочь вышвырну.

– Маменька!..

Хорошее, доброе такожде память Клавина хранила-берегла. Как встретились-сдружились; как сказки ей разные говаривал – и всегда в них справедливость верх над злом брала; однажды он толковал ей сны необычные, пояснял: «Звёзды, заря алая снятся ежли – много счастья привалит, бери – не хочу! И когда изумруд, навроде того, что у мамашки вашей, во сне увидите – отрада, большо, придёт. Угу.» (Изумрудище великолепный углядел случаем в диадеме Наталии Владимировны – про иное речь…] А ещё напевал на ушко крохотное колыбельные да народные, она же, бывало, слушала, слушала говорок окающий с баском прорезывающимся и невольно чувствовала силу, добрую силу своего «дяди-мальчика» ощущала сердечком распахнутым… Он заражал девочку силою этой, успокаивал… и доверчиво склоняла головку к плечу богатырскому и засыпала на миг сладостный.

Повторить не грех: ещё не совсем осознанно, зато искренне, глубоко-преглубоко любила она его, называла другом настоящим и ни за какие коврижки не хотела, не собиралась расставаться с араповатым «дядей-мальчиком». Её так и подмывало рассказать о нём, в первую очередь, матери – отца сторонилась, наедине с «папенькой» быть не желала по причине известной, догадочной; «маменьке» ж едва не проболталась как-то: «А дядя-мальчик подарил мне лесного человечка!» Удерживало то, что Анатолий строго-настрого запретил ей рассказывать об их тайных встречах. «Иначе никакая-то не будет тайна ужо…» Подспудно сознавала Клава: даст волю языку – влетит по первое число Толе! Допустить этого не могла.

Прежние друзья Клавины, к примеру, Саша Охлопков, Нина Богомазова да и другие дети папенькиных знакомых, вхожих в элиту городскую, были неинтересны, откровенно скучны ей. В подмётки не годились Анатолию. Холёные, вышколенные, никогда в глаза не посмотрят, не скажут, что думают на самом деле.

– …к обеду вышвырну за борт! Доплывёт – пойдёт тайге на съедение, не доплывёт – чтож, невелика потеря!

Николай Николаевич Мещеряков, конечно же, кривил душою. Человек дисциплинированный, строгий, требовательный к себе и к подчинённым, он вместе с тем был однолюбом. Военная косточка, армейская суровая закалка-выправка сочетались в нём с чувством постоянства, которое лично он полагал одним из наиважнейших и обязательных в людях. И уж если пришёлся ему по нраву Анатолий сын Глазова, если учуял в парне что-то настоящее, кремневое, то отношения своего не изменит, хоть ты тресни. Тут надо тако-ому произойти из ряда вон выходящему, что и представить невозможно… Правда, не учёл Николай Николаевич малости самой: в те минуты, когда грозился вышвырнуть Толю за борт, вон! рядом Клава находилась и за чистую монету слова капитана приняла. И – разволновалась не на шутку, тем более что пережила несколько минут назад очередной нервный припадок и до конца ещё не отошла от приступа. (Не кстати добавим: путешествие по Лене-реке на великолепном пароходе-музее было одним из средств исцеления девочки: красоты природы, свежий воздух, сама смена обстановки…] Невдомёк было Клавушке, что Мещеряков ни в жисть не спишет на берег такого

отличного работника, она и выражения этого не знала, но знала одно: её славному «дяде-мальчику» из-за неё, из-за неё!! не просто острастку дают основательную – подступает беда великая… Толю выручать надо! Не поздно пока… Но как? Как?!

И вдруг на поверхность памяти, как из омута-бучила, выплыло: за роялем сидит, «БАРКАРОЛУ» исполняет… С последним звуком от клавиш взгляд оторвала, боковым почти зрением уловила: вот гость её чумазый, на краешке стула сидевший, робко и потрясённо привстал… Она вздрогнула даже тогда: очами ткнулась буквально в приблизившееся и оттого увеличившееся лицо кандалинское с отметинами незаживающими, лицо, отражённое распахнуто-приподнятым крылом рояля кабинетного и в белизне зеркальной показавшееся ей мертвенно-уродливым (не ведала о трагедии Кандалы Старой). Вздрогнула – тихо, вся под впечатлением от музыки… потом снова, более пристально посмотрела на…

…в изумье будто – глазищи растопыренные… и боль… БОЛЬ непроходимая-непроходящая в них с судьбою напополам… Страх божий! Свят! Свят! И померк звук, НА КОТОРЫЙ СЛОВНО ШЁЛ ОН, померк… но она что-то сказала, да, сказала, назвала имя своё… он же *глазея* в её сторону… но…не…на… неё! Куда? Потом выскочил ошпаренно, а вернувшись, скоро, быстро вернувшись, вложил в ладошку, чуть влажную после игры, премилого «лесного человечка»… сейчас куклёнок с нею… он всегда с нею, то в кармашке левом, то под подушечкой батистовой… «ВЫШВЫРНУ ЗА БОРТ!!!», «за борт…», «за борт…»

Над безтенной чашей земною – затмение. Качнуло-дёрнуло палубу. Упала Клава, без всяких «бы» подкошенно рухнула… Наталия Владимировна, глаз с дочери не сводившая, таки не успела подхватить девочку, поддержать. Толя обернулся, напрягся… Рука Мещерякова повелительно сжала плечо: не смей, мол, не суйся, ты кто есть такой здесь?!

Остановилось время. Движением плеча мощным, быстрым сбросил руку начальственную, как былиночку невесомую взял на руки девочку – та благодарно и безмятежно прильнула к груди друга, пролепетала:

– Не трогайте его…

Взмолилась:

– Пожалуйста… Он хороший, куклы красивые делает, сказки и сны рассказывает… А? Что вам стоит? Не трогайте его! Хочу, чтобы он рядышком был. Всегда… Всегда!..

Покоилась на руках надёжных, причитала одно и то же, одно и то же… Слабая, измученная улыбка… негаснущие искорки в глазах… «Со мной…»

Бережно передал Толя ребёнка матери. Наталия Владимировна с показушной и хлопотливой озабоченностью приняла дочку, стала было укачивать, потом Горелову:

– Чего ждёшь? Без указаний моих не знаешь, что делать?

Вскоре появился ещё один персонаж – помощник капитана Воропаев, также отставной моряк с лихими, по-казацки загнутыми пышно усами, вопросительно устави лея на Мещерякова. Тот, уже получив распоряжения от миллионера, отрывисто бросил одно-единственное «Доктора!» Помощник, даже не кивнув ответно, вышколенно удалился. В последовавшей затем относительной тишине Анатолий поближе разглядел жену миллионера и нашёл в женщине что-то неестественное, отталкивающее. Красотой явно не обладала, на лице – слой косметики, от кожи за версту разит духами дорогими, но… и ещё более противными. Походила вся на статую ожившую и готовую немедленно застыть снова. Ни кровиночки от крови «рюриковой» – зато отчуждённость и немецкая ледяная сталь, брезгливость, когда брала из рук Толи Клаву. На мгновение парню почудилось, что Гореловы не питают к малышке ровным счётом никаких чувств… Что они… страшно подумать! Нет, нет…

– Чего вылупился?

Анатолий смолчал. Резанул по глазам бумазейным острой ненавистью цепной, на шажок символический отступил. Но вот глубинный, монотонный механический шум освежил шелестящий кашелёк (его-то и кашлем при всём желании не назовёшь!) и на «сцене» возникло

новое действующее лицо – врач Филимонов, сухопарый, жилистый, в белом, наброшенном наспех и застегнутом на верхнюю только пуговицу халатике и как будто жующий неизменное: «Тэкс», «тэкс»…

– Тэкс, тэкс, нуте-сс, нуте-сс… Без паники-сс, без пани-ки-сс… Да-сс… Тэкс, и что тут у насс?..

Странное дело, ему удалось сразу же всех успокоить, взять под свой контроль обстановку, привнести лучик тёплого неизбывного радушия… Профессионально быстрым движением приложил ладонь девочке на лоб, потом взял её за руку, сосчитать пульс, и всё это как-то незаметно, играючи, затем, причмокнув, заявил веско-авторитетно, что больную нужно отнести в каюту, положить у открытого (дважды подчеркнул: открытого!] иллюминатора.

– Покой-сс! Покой, покой, покой… Тэкссс? – лукаво подмигнул Клаве. – Завтра будешь, как огурчик!

– Нет! Не хочу отсюда! Я уже совсем поправилась! Лазарет Лазаретыч, миленький! Честно-пречестно! Только прошу: попросите папеньку и капитана, чтобы дядю-мальчика не выбрасывали за борт!! Чтобы его никуда не выбрасывали!! Я люблю его, мне хорошо с ним!

«Лазарет Лазаретыч» пришлось всем по душе, знали: Клава так в шутку величает Лазаря Лазаревича Филимонова, личного доктора семьи Гореловых, в прошлом хирурга, многоопытнейшего, получившего контузию в порт-артурскую кампанию и обладающего поистине энциклопедическими познаниями в плане чисто терапевтическом. Напряжение спало.

– Родя!

Горелов зыркнул на жену, прочёл в глазах её вдруг зажегшихся непреклонную волю, понял: это тот редкий случай, когда перечить женщине просто нельзя. «Твоя взяла…» – подумал, вслух же:

– Господин капитан, Николай Николаевич! Обстоятельства, сами изволите видеть, складываются таким образом, что я вынужден убедительно просить вас заменить этого – кивнул на Анатолия —…рабочего… В ближайшем самом будущем он нам понадобится для иных дел!

Тем временем к Глазову подошёл Филимонов, взял паренька за локоть, обратился к Клаве:

– Помилуйте, Клавушка-сударушка, (ответный ход!], ничегошеньки с ним не случится. Тэкссс! Н-ну, деточка, слышишь?

– Пускай рядышком будет, всегда, я его никому не отдам! Не отдам!! Его за борт хотят вышвырнуть! Капитан говорил… Лазарет Лазаретыч, миленький, я не умру? А то его без меня вышвырнут… А меня за борт не выкинут?!

Толя вздрогнул. Вспомнилось всё. «Сталось что, Клавушка, барышня, ась?!»

«Не бред то…»

В любую секунду могла разразиться самая настоящая истерика. Все это прекрасно понимали. Улегшееся несколько минут назад напряжение грозило рецидивом, что чревато было ещё более сильными эмоциональными переживаниями – судорогой. Признаки бреда, навязчивых сумасбродств являлись предтечей и не заметить их – значило проявить безалаберную, преступную по отношению к Клаве бездушность. Динамику развития заболевания нервного предсказать вообще невозможно, всегда следует быть готовым к самому нехорошему сценарию.

– Конечно же, не помрёшь, что ты? Господь с тобой! И мальчик твой с тобою отныне постоянно будет. Родио-о-он!!

Возражать Наталии Владимировне, этой мегере?! Прилюдно?! На глазах у посторонних, впридачу – сорванца вонючего???

Горелов сказал лишь:

– Подведите его – ткнул на подростка.

Незаметно-тихо оказавшийся здесь Воропаев подтолкнул Толю к хозяину. Мещеряков собирался было возразить (не хотелось терять отменного работника, тем паче – впереди доста-

точно миль пути…], однако своевременно спохватился. К тому же, по-человечески жалко стало малышку. Своих детей не имел, а дочери миллионера он в глубине души сострадал и несколько раз позволял ей дотронуться до штурвала, показывал барометр, секстант, разрешал мелкие нарушения, давал «напрокат» настоящую подзорную трубу, тяжёлую, длинную, если её полностью раздвинуть, которую Клава, в свою очередь, предлагала Толе, дабы последний мог обозревать берега Лены, раз это уж так для него важно. Стало быть, промолчал, одарил взглядом невесёлым внушительную не по возрасту фигуру мальчика, мысленно с ним попрощался – как с одним из членов команды. Впервые в его, капитана Мещерякова, практике член команды в ходе одного плавания превращался в… пассажира!

Горелов, посмотрев странно на дочь, произнёс тоном, каким прежде с Глазовым никто и никогда не разговаривал:

– Будешь развлекать, забавлять нашу дочку, прислуживать ей. Чтобы делал для неё всё, что она велит. И чтобы ни слезиночки в глазах её мы не видели. Отныне находишься при ней до особого моего распоряжения. Всё.

– Не продаюсь я.

Анатолий отвечал. Тихо, но членораздельно, чтобы слышали все, находящиеся на палубе. И – спиной к Горелову повернулся. Вызывающе, спокойно, ощущая силу свою и собственное бесстрашие. Но когда поворачивался, наткнулся буквально на молящие, страдальческие глаза Клавушкины и, кулачищи вхруст, застыл немо, раздваиваясь… Ему… блевать было на реакцию, которую вызвали у окружающих его слова, наплевать да размазать! Вот Клава – другое дело! Эх, что теперь вспоминать! Он не просто привязался к девочке, не просто хотел помочь ей стать добрым, чистым человечком, таким, собственно, каковым она и являлась, он меньше всего думал в течение секунд, определяющих дальнейшую судьбу их обоих, о вынашиваемых им планах мести Горелову, более того, Анатолий позабыл даже… о Зарудном. Всё перечисленное отошло на второй план. Всё, кроме взгляда Клавы – взгляда затравленного и цепляющегося за него, за Анатолия Глазова, как за соломинку. В груди подростка схватились сразу и чувство долга перед ребёнком несчастным, и горечь унижения поневоле (это же надо – идти холуём к мильёнщику!), и… Тут особо подчеркнуть надо – внутренний голос вещий нашептал ему, что ждут девочку события кошмарные и что кроме него, Толи, его дюжих плеч, никтошеньки беднягу не поддержит.

– В машинное отделение – ни ногой. Там грязно. Отмыться, почиститься – и на вахту… новую! Пострел!!

Хотел ли подлить маслица в огонь Мещеряков, не желал оного – разве важно? Его, капитана, тоже понять следует. У каждого своя частица, кроха неотымная вселенской правды. Факт.

Словом, приступил Анатолий к исполнению новых, как сам считал, рабских обязанностей и приступил с чувством сложным, смешанным: уничижённости крайней и… восторга неподдельного. Так произошла в его жизни очередная крутая перемена, ещё одна полоса. «Ничё-ё… отмщу! отмщу!» – думал всё чаще, взволнованнее и дума сия единственно утешала подранка, в золочёную клетку попавшего. Да ещё – ангелочек с локонами золотисто-ржаными, ангел… на все ль? времена. «С Кузьмичём теперича не скоро свижусь! Как он тама, один? Большо, тяжельче внапряг…» Донимала, не хотела отпустить боль – плохо расстался с Лукониным, можно сказать, нахамил ни за что, ни про что.

Клаве через несколько дней полегчало – своё благотворное влияние оказывали воздух чистейший, кедровый, проплывающие вдоль берегов красоты сибирские: громады глыбистые, схожие со столбовыми великанами спящими… дюны песчаные на взгорье… затоны и плёсы тенистые… ну, и, конечно же, присутствие подле неё Друга, почти брата старшего – присутствие Анатолия. Кстати, именно он тогда, после приступа сильнейшего, и отнёс девочку в её каютку-уютку – просьбу смущённую Клавы передал всё тот же Филимонов, «Лазарет Лазаре-

тыч», то бишь. Это заело самолюбие «маменьки» и вызвало странную, нехорошую улыбку у Родиона Яковлевича.

Итак, спустя небольшое время дочь миллионера Глазова полностью пришла в себя. Излишне повторять, что она ещё крепче привязалась к Толе, переродилась словно, ожила, неистощимой на выдумки всё чаще становилась, душою спокойной, доверчивой к нему одному и тянулась. Правда, поначалу, когда он хорошенько отдраил кожу от сажи, масла, угольной пыли, забивших все поры, да приоделся, Клава чуточку сторонилась парня: к чистюле такому ещё привыкнуть надо! Однако вскоре всё вернулось на круги своя и теперь оба, не таясь, сколько их душенькам было угодно, прогуливались по верхней палубе, играли в прятки, причём, особенное удовольствие доставляло детям использовать «старые» места, находиться там, в запретных прежде укромных уголочках, и думать-представлять, что вот-вот обнаружит непослушников кто-либо из вахтенных, а то и сам капитан Мещеряков. Для Клавы, правда, запретов на «ГРОМЕ» практически не существовало (помним!), чего никак нельзя было отнести к Анатолию-прежнему!

Однажды они тайком посетили машинное отделение и, к радости искренней Кузьмича, Толя обещал, что будут стараться наведываться в «гости» почаще. Принесли еды с собой, после чего бывший жиган Анатолий Глазов решил «тряхнуть стариной», подсобить истопнику. Рвение это было ответно искренним, к тому же, не станем лукавить, ему хотелось, чтобы Клава посмотрела, как силён и ловок он. И добился своего. Засучив рукава, вкалывал с полчаса, покуда Кузьмич дух переводил, и все минуты эти девочка широко распахнутыми глазами любовалась трудом адовым.

– Я бы тоже хотела так! – решительно произнесла потом, когда он, умывшись наспех и с её заботливой помощью вытеревшись насухо, бродил по настилу палубному, вглядываясь в багровые туманы закатные над отходящей ко сну в постели таёжной Леной-рекой…

– Скажу папеньке, пусть разрешит! Иначе такое устрою!! Он мне ни в чём не отказывает…

Внезапно загрустила… и Толя с опаской подумал о причине столь резкой смены умонастроения у девочки. Поскольку разгадки не находил, то просто взял её за руку, произнёс:

– Пока не след, лады? Вот окрепнешь, я тебе разрешу, – и тихо добавил в раздумьи – дразнить судьбу-собаку негоже нам…

Да, они были по-своему счастливы. Много времени проводили вместе, гуляя, обмениваясь впечатлениями богатыми, рассматривая дали и близи, болтали о том о сём, рассказывали друг другу забавные истории из прошлых лет жизни обоих на светушке бренном, причём, *главного и рокового* он, понятное дело, не говорил – не для прекрасных ушек предназначалось оно… Разумеется, занятия музыкой привлекали его особенное внимание, и всякий раз, когда девчушка исполняла этюды, пьесы небольшие и… как их, бишь, да – менуэты, он, затаив дыхание, сидел в сторонке на стульчике с оббивкой розово-цветастой и напряжённо, чуть ли не затравленно внимал звукам, природы которых не ведал, но которые переворачивали всё в груди, словно огромные, сверкающие лопасти – нежные и прекрасные!.. Утверждать, что подобное времяпрепровождение скоро очень наскучило смертно Анатолию – нет… вроде бы ни к чему. Единственное, что не устраивало – бег минут, часов, дней и ночей и странная бесцельность его, Глазова, существования… между небом и водой! Все эти сутки, недели, месяцы, которые он находился на борту «ГРОМА», истопником ли, в огненном аду, позже – в райских условиях с девочкой прелестной, его не покидало ощущение какой-то размытости, нереальности происходящего с ним. Жизнь потеряла свою направленность: будни, праздники напоминали волны за кормой и волны эти пропадали, сходили на нет (особенно последнее время…) и не было никакой абсолютно возможности воротить их вспять, а на место каждой гирлянды серебристой приходили новые и новые гребни… дюны… валы… и так же исчезали, оставляя неудовлетворённость и совершенно выхолащивая то, что люди мудро нарекли надеждой… А

если и не выхолащивая, не вытравливая, то отодвигая исподволь в неопределённое^ грядущую… Он быстро взрослел и при этом казалось ему: невидимая, властная рука постоянно заводит в глубине существа его тончайший механизм, отвечающий за каждый шаг, поступок, слово… Вот он послушно двигается, общается, ест, спит… Но это и не он. Это – некто, растрачивающий себя зазря. Некто, совершенно не стремящийся к важному, нужному, но в данный момент действительно как бы отстранённому за горизонт всегдашний, в дальний угол и самолично ограничивший собственную судьбу заданностью своего жития-бытия, предложенным ритмом, навязанной волей… Не потеряться бы окончательно в водовороте бестолковом, в брызгах суеты… а? Иногда, в минуты острого прозрения, вспоминал Кандалу Старую, маму, Прошку и ужасался, и доходил до поразительных откровений: ведь живёт действительно вхолостую, никому (почти!) не нужный, всеми забытый… Так дальше продолжаться не должно. К мысли оной приходили оба одновременно – реальный он, Глазов, и находящийся внутри него тот, другой, *некто,* имени которого он не знал и которого вообще не узнавал, которому откровенно попустительствовал и с которым не хотел сталкиваться.

…Тусклая осенняя перецветь, холодрыга и прощальный взрыд птах божиих, снявшихся с насиженных мест в далёкие тёплые закрая! «ГРОМ» вторым бортом причалил к пирсу в Ярках. На берегу – кареты, встречающие, цыгане даже с традиционными их причиндалами… «Почему вторым бортом?!» – написано было в глазах Горелова. Мол, как это так – его личный пароход зависит от… Никакие объяснения Мещерякова и Воропаева по поводу нюансов поздней навигации на Лене, очерёдностей, загруженности, тонкостей швартовки, прочего… на уши(!) во внимание им, хозяином Сибири, не принимались.

– Убрать. Немедля убрать ту посудину. Кажется, господа моряки подобным образом выражаются, сударь? Убрать.

– Помилуйте, Родион Яковлевич, – капитан знал себе цену и заискивать, лебезить даже перед самим Гореловым не собирался – я уже распорядился: постелят дорожку, всё будет честь по чести! Что вам стоит с супругой перейти на соседнюю палубу, а оттуда – прямёхонько на берег?! Тут такое положение сложилось, что…

– Убрать.

– «Всех ненавижу! – подумал – распоясались в моё отсутствие!»

Волю миллионера сломить не удалось. И начались долгие поиски руководства сухогрузом, переговоры с соседями, манёвры… Суда и баржи отходили от берега в причалах-пирсах, разворачивались носами то в одну, то в другую сторону, пропуская «флагманский» корабль – «ГРОМ», сильный ветер относил в сторону, прочь мат-перемат солёный, гудки нервные, резкие…

– Ишь ты, без меня совсем от рук отбились, гадёныши! Запрудили, панимашь, пристань всяким сбродом-говном, а я, Я!!! – вторым бортом?!

Стоял в салоне их семейном перед женой, которая в душе смеялась над ним – согласилась отправиться в путешествие долгое вниз по реке только из-за дочери и давно уже не находила себе места в роскошных покоях на плаву. К тому же червем грызла идея скорее податься на юга – для начала в Грецию, Италию, Испанию, после можно и в Китай с Японией… Не всё же комаров кормить в глуши этой расхвойной!

– Не хочу тебя слушать! Устала! Господи, как же я устала с тобой!

Наталия Владимировна не считала нужным притворяться. Её покойный отец, крупный фабрикант Кошелев, научил дочь «главному»: независимости от других людей и… людишек. (С его, кошелевской, колокольни!] Теперь, по истечении многих лет, она руководствовалась «золотым», с детства внушённым ей правилом: думать и говорить, говорить и делать только то, что нужно тебе, не считаясь ни с чем и ни с кем.

А за границу хотелось нестерпимо. Каждый год, ближе к зиме, выезжала туда – одна, чтобы почувствовать полнейшую свободу, раскованность, чтобы можно было слегка пофлир-

товать и, конечно, обзавестись всякими покупками, которые за соответствующую мзду аккуратно, с массой предосторожностей переправлялись из цивилизованного мира в Ярки.

– Ты не находишь, что смешон? Поди вон. – Сквозь зубы, с гримасой брезгливости – Устала от тебя! Господи, как же я устала от тебя!

– Хочешь быть одна? Уйти хочешь? Ничего-о, перехочешь! Поняла?!

– Какая же ты сволочь. Урод! Ни дай Бог, я получу подтверждение того, что ты с дочкой амурничаешь, ни дай Бог! Знай: тебе не жить. Умерщвлю. УМЕРЩВЛЮ.

– Замолчи, как ты смеешь! В тебе хоть искорка святости тлеет?

– И дёрнуло же меня, дуру, за такого подонка выйти!

– Чем я тебе не угодил? Надоело уже! Злишься, злишься! Не баба, а…

– Смотри у меня, хозяин Сибири! В оба смотри!

Милые бранятся – только тешатся? Отношения супругов Гореловых идеальными назвать было никак нельзя. Складывались они, взаимность и чувственность, притворство и лицедейство, под напором целого массива обстоятельств привходящих, наклонностей порочных, унаследованных и не благо…приобретённых, других факторов, так что здесь сам чёрт ногу сломает. Исследовать, анализировать кучу дерьма оного – дело не чести, а, скорее, суда чести, посему замнём сие. Время само расставит всё по местам, воздаст каждому по справедливости высшей. Судьба и суд происходят от одного корня! А корни обнажаются в бурю.

– В оба смотри… – добавила спустя секунду.

Ничего не ответив, Горелов по привычке подошёл к зеркалу, уставился… Это успокаивало, отпускало – отрицательная энергия словно переливалась из нутра – в серебро амальгамы, где рассеивалась, утихомиривалась… – отраженный его же, Горелова, облик напротив нёс в душу-душонку новые силы, грозные, волевые, организаторские, златоалчущие!!

Но не о них, богатеях драных, речь! Обручение чуть ли не венценосное двух мешков с деньгами ничего хорошего никогда не приносило – почти всегда оборачивалось впоследствии сценами грязными, грубыми, циничными. Единственное, что когда-то приваживало её к Горелову – это воплощённая в камне роскошь.

Итак…

Итак, Клава не просто привязалась к Анатолию, но напрочь забыла прежних дружков, ибо друзьями их можно было назвать с огромной натяжкой! запамятовала игры, забавы, развлечения прежние… Стремилась, старалась в большом и в малом походить на Анатолия, невольно подражала ему и выглядела при этом непосредственно, мило. Она и думать не думала приобщить его к своим привычкам, укладу собственному… Она переродилась! Перерождалась!.. Ей будто всегда хотелось быть немного другой, только она не знала, чего именно не хватало… С появлением в её жизни Анатолия всё стало на свои места. Вместе с тем, повторим, она вовсе не пыталась втянуть «дядю-мальчика» в зажиточный-обетованный мирок, не планировала познакомить его с детьми папиных подельников и подчинённых, напротив – отринула разом прошлое, словно сама, сама! перевернула страницу судьбы и при этом – втайне ли, не втайне – страстно желала стать не чужой в его вселенной.

Что до Анатолия… В четырнадцать лет он казался вполне сложившимся, сформировавшимся человеком, совершенно непохожим на холёных, спесивых ровесников, которые появлялись во дворце миллионера, кичась деньгами карманными, нарядами потрясительными, культурою и знаниями, приобретёнными от учителей да гувернёров заморских, престижно выписанных сюда, в Сибирь, богатенькими родичами для ненаглядных чад. Они, эти Маши-Саши-Паши, казоти-лись перед ним эрудицией, тем, что «французили» бегло, жонглировали латынью… – кто чем горазд, тот тем и хвастал с апломбом, стараясь произвести выгодное впечатление на Клаву и откровенно презирая, ненавидя Толю, а в глубине души завидуя последнему и ещё в большей степени побаиваясь его. Грассировали, ёрничали, обидно передразнивали, корчили за спиной его рожицы, ведь для них он был баглай, заточенный в прекрасную,

на первый взгляд, камеру арестант. Бесправный, неотёсанный, с отметинами уродливыми на лице от давнишней порки массовой… отпускали шуточки, неискренние комплименты – с подвохом, с двойным смыслом… Боялись однозначно. Анатолий не был бесчувственным чурбаном – всё видел, замечал. Не раз и не два близок был к тому, чтобы смачно, крупно харкануть на паркет сложноузорчатый, выложенный из десятков сортов дерева, затем выбить стекло оконное, покрошить на дребезги зеркало гигантское в раме фантастической-невиданной или откровенно долбануть кого-нибудь под дых и уйти восвояси – дверь с петель! и больше сюда – ни ногой, но перед глазами неизменно стояла Клава, беззащитная, непосредственная, и в душе парня просыпалась боль, главное же, просыпалось чувство ответственности за здоровье, дальнейшую судьбу девчушки и он пересиливал себя, продолжал играть роль гнетущую (это когда прилюдно], откладывая на неопределённый срок уход из дворца… Выслушивал дальше елейные велеречия с оскалом ехидным, лицезрел плюгавые физиономии, расшаркивания, шушукания подколодные в свой адрес «великосветских» отморозков. Терпел…

Дети – цветы жизни? Хм-м…

Вот Клава – да. Цветок. Чем невыносимее Анатолию делалось, тем острее, пронзительнее уповал он на то, что его час пробьёт; о-о, морально он превосходит здесь всех и поможет цветочку расцвести, поможет Клавушке одолеть недуг и стать настоящим человеком. Это же так прекрасно – быть самым настоящим человеком, как бы отвратно, гадливо не бултыхалось в душе от окружения мерзостного… А Клавушка иной доли и не заслуживает! Подкорково, неосознанно ощущал Анатолий: она далека от «папеньки» и «маменьки», не чета чете Гореловых, другим родичам и знакомым своим.

Теперь самое время подчеркнуть, завершив начатую выше мысль о том, что Анатолий проклинал себя за пустое времяпрепровождение, тяготился бесцельностью быстротекущих дней-ночей: стремление, жажда (иногда затухающая и какая-то подспудная, чаще – мучительно-иссушающая) вылепить из девочки нечто высокое, справедливое, доброе заполняли тот самый вакуум, который доводил нередко до отчаянья глухого. Сводил с ума: кому я нужен? есть ли польза от меня? зачем живу на белом свете??? Если учесть, что вокруг него реяли постоянные намёки, грубые окрики, ненавистные взгляды, показушное превосходство в манерах «учтивых» и тому подобное, чем отравлен был извне, но с чем, однако, продолжал бороться крепкий дух подростка, то станет ясно: помогая Клавушке, он помогал и себе! Создавал себя сам. И, кстати, продолжал лепить разных человечков из подручного материала, как в бытность недавнюю. Оно так и водится, справедливо считал Глазов, – нужно всегда что-то лепить: характеры, фигурки, украшения и поделки-не подделки. Иначе нетрудно обленииться и зачахнуть на корню. И ещё вот о чём непременно сказать надо. Обладая широкой натурой, впечатлительной и творческой душой, Анатолий черпал силы для внутреннего развития, для – будем искренни до конца! – сопротивления той атмосфере, обстановке, которые стали его новым домом, в роскошных чертогах дворцовых, стилях архитектурных и внутреннем насыщении покоев, залов, анфилад несметными сокровищами гения и духа человеческого. Плюс – в музыке. Одно здесь дополняло другое… Сопутствовало третьему… Вот почему в глазах юноши пылал огонь, что не заметить было нельзя и что бесило многих. Многих, поскольку лепил он не всегда безобидные штучки.

– Клав, ну-к, глянь, что это?

– Ой, вот здорово! Вылитый Сашка!

И она, смеясь, незлорадно, искренне, любовалась комичным, пародийным изображением некоего, ей известного *спотыкача*…

Яро, с пеной у рта вымещал на Анатолии свою злобу нутряную рыжеватый, трусливый заика Саша Охлопков, *сынуля*, управляющего банками гореловскими сынок. На головке – причёсочка общипанная, нос – картофелиной с загогулиной – красавец, словом. То ли от недостатка физического, то ли от уродства морального бралась в мальчике неуёмная злоба – сказать

трудно. Всё перемешалось. Злобу эту в сы-нулином теле, жирно-обрюзгшем в раньелетстве уже, раздувал *сам* – Охлопков-старший, значит. И делал оное искусно, с прицелом дальним: чаял оженить уродца на Клаве и макаром таким чужие миллионы баснословные, которые в сейфах его опроцентивались, и де-юре, и де-факто в собственность со временем превратить, нажиться одномоментно(!) на состоянии сказочном, не мелочиться!..

– Голыша этого трави, Санёчек, нехай самому себе мерзок будет!

– 3-забавно! 3-зы-здорова!

По хорошему ежли, то пожалеть бы дефективного – увы! ещё той породы был младшенький! Яблоко от яблони далеко не укатится!..

Вот Санёчек и травил Анатолия, подчёркивал холуйский, рабский статус последнего, унижал при Клаве – унижал цинично, тонко, «изячно-с»!

И всё-таки, несмотря ни на что, юноша счастья вздохнул. Жил сыто, в тепле, думаете, потому и вздохнул? Да разве подлинное счастье в этом? Грамоте с Клавиной помощью обучился, ноты узнал, что-то простейшее наигрывать обеими руками начал? Отчасти, да, но и не более! Он теперь крепко усваивать стал главное знание, истину непреложную: мстить и бороться не только оружием и кулаками можно – шалишь!

Есть ещё выдержка, слово твёрдое, стойкость и характер мужские, взгляд, от которого шарахаются недруги и оскоплённые ненавистью прихлебатели, иуды, выродки-подлецы. Это внутреннее знание и делало его по-настоящему счастливым, цельным человеком. Он убеждённо верил: Клава тоже станет хорошей, честной, доброй девочкой, девушкой… не в пример домочадцам и посетителям, гостям, источающим направо-налево мыслимые и немыслимые пороки, пусть даже и завуалированные великосветскими манерами и двуличием. С другой стороны, в минуты особенного отчаянья размышлял: что же именно даст ей в противовес желчи, сарказму выскочек он сам, сам, продавшийся Горелову и виноватый в том, что «игрушкой» Клавиной согласился стать-быть?! Они постоянно науськивают ей, внушают: «твой Толя – хам, необразованная деревенщина, тебе с ним скоро будет неинтересно…» А разве это не так? Конечно, он не хам (правда, с Лукониным однажды весьма грубо обошёлся и забыть этого не в состоянии], но и эрудицией, знаниями не блещет – ему самообразовываться нужно! Эх, воротить бы миг, день тот, когда его покупали… Покупали? Врёшь, паря, никто тя, голодранца, не покупал – просто не проявил ты воли должной, клюнул на слёзы-нюни соплячки, вот и расхлёбывай теперича! Нож в твою… Недаром сердце – тычком! Сама себя раба бьёт, что не чисто жнёт!

Однако по большому счёту, положив руку на сердце, – случись с ним такое вторично, опять «продастся» со всеми потрохами, ибо глубоко сопереживал Клаве, её беде тайной, горюшку недетскому, был одинок по жизни и вряд ли в чём-либо отказал бы девоньке, вряд ли хватило бы в нём жестокости, бессердечия доводить малышку до очередного приступа, до истерики. Наконец, обстановка великолепия пышного, звуки гармоний, сопричастность, прикосновение к тому возвышенному и прекрасному, что объективно имеет место быть во дворцах мраморно-хрустальных с парковыми ансамблями изукрашенными и глориэтами под античность – все это манило, притягивало, ни на мгновение не отпускало созревающую в противоречиях душу Анатолия Глазова, чей жизненный путь только начинался на земле нелюдей и людей.

Однажды, из-за оскорбления заикушного, охлопковского, сцепился Анатолий с Сашей жирнорыжим, побить не побил, хотя трудов особых это не составляло: силой с парнем многие взрослые не могли на равных меряться-быть; да, не побил, но на место поставил, откровенно, прямо добавив, чтобы не зарывался впредь сынуля банкирский. Сгрёб в охапку, да так, что тот и пикнуть не смел, после чего на виду прислуги чинной вон выставил. Развязность, оскорбительные нотки в речах сопляка могли ведь оказать не самое благоприятное воздействие на Клаву, рядом тогда находившуюся и пристально наблюдавшую за происходящим. Любое же негативное эмоциональное влияние на психику девочки грозило бедой, Толя знал, поскольку

приставлен был к ребёнку именно с целью от возможных потрясений нервных «доцюру» Гореловых постоянно ограждать. Ясное дело, Охлопков-младший папаше нажаловался. Тот в приватной беседе излил недоумение (мягко говоря!) Родиону Яковлевичу. И – всё. На сим конфликт себя исчерпал. Ни миллионер, ни супруга его даже слова Толе не сказали: не дай-то Бог, Клава дознается, станет переживать, болезненно реагировать… Рисковать здоровьем девочки, вредить ей – упаси Господи! Равно как и зависеть, *в послушенстве* этаком от банкира быть – также не к лицу Хозяевам Сибири Русской!! Банкиров много, их перетасовать, да из колоды финансовой удалить-сбросить – запростяк! Вот Горелов – один такой. Посему ограничились Гореловы тем, что многозначительно-косо посмотрели на Глазова, желчью с ног до головы окатили… И – точка.

Однажды… впрочем, много чего ещё в жизни новой Толиной случилось. Выделить главное уместно: продолжал развивать в душе и в руках дар художнический от природы и немало способствовало тому решение Горелова увековечить в мраморе каррарском семейство свое, создать в парке гигантском, с озёрами, с главным водоёмом – как раз между тыльной стороной П-образного дворца и глориэтой на италийский манер! – скульптурную группу: он, жена, дочь. Тем самым возжелал Родион Яковлевич во скрижали истории персону собственную занести, дабы на века память о нём промеж людей шумела и не послушкой-намолчкой, но чтобы непременно пригвождала к земле монументальностью, размерами исполинскими одних, смердов, и в назидание высокое другим была: иди, мол, как я, не ленись, от одной высоты – к другой, приумножай славу злата, собственную власть выделяй!.. Короче, выписал из «европ» ваятеля именитого, повелел:

– Сотвори чудо восьмое света! Отблагодарю алмазно! И чтобы с размахом было, в расходах не мелочись, не жмись! Сложи мне песнь лебединую! Коль зазвучит она, то и себе славу бессмертную снискаешь!

Дворецкому же, чопорному, седому, наказал:

– Всем необходимым обеспечить сверх меры.

– Будет исполнено, Ваше Сиятельство!

Скульптору отвели несколько комнат просторных, приставили слуг, предложили самому набрать (а надобно коль, то и пригласить сюда заморских!] работников-помощников толковых, знающих дело оное, снабдили всем-превсем, о чём и мечтать не мечтал… Через неделю-другую первые наброски, варианты эскизные лежали на столе огромном в рабочем кабинете Горелова (здесь, кстати, никакой роскоши барокко-рококо не было – только самое необходимое имелось!].

– Хм-м… Мелковато, мелковато как-то… Нету размаха сибирского! Уж больно Италией отдаёт!..

Озадаченный, Рафаэлло Менотти в собственные апартаменты удалился: дальше мыслить-созидать чтобы. На своей родине, во Флоренции, никто не говорил ему такого. Звездой первой величины считался! На всеевропейском небосклоне также мало кто сравниться с ним мог… Тут же прошлые заслуги в счёт не шли – требовался особый, нестандартный подход, нужно было сотворить нечто из ряда вон… Творческий зуд охватил внезапно, как налетевший ниоткуда вихрь. И спустился Рафаэлло в садово-парковый рай роскошный… Прогуляться решил ещё раз… Обозрел окрестности не взором уже – душою творческой…

Глубинным, гениям присущим, зрением охватил окрестности, что врезались сквозь геометрию сонную-вычурную каналов-проток, мостиков-аллей, зеркал распахнуто-волни-стых с островками посерёдке в тихую с виду обитель гореловскую… Под благоухания нежные вспомнил, как мучительно-долго добирался в края здешние, как боялся, что вообще никогда не приедет в Ярки, ибо отчаялся в пути совсем было, ведь кроме сосен, лиственниц, полян, взлобков, речушек-рек… и опять сосен, лиственниц, полян… сосен… тьфу! но-таки сосен, сосен,

лиственниц (надоело, поди? А каково же ему приходилось?!], и снова сосен… сосен… кроме тайги безбрежной – НИЧЕГО.

Взгляд Рафаэлло упёрся в глориэту. И тут его осенило!

А вскоре закипела работа. Привозили ему образчики горных пород – «мрамор-мармор и серый, и чёрный, и белый, и вообще любого сорта-плотности ценного, что душа пожелает!», выделили мраморщиков подсобных-способных, коих лично отобрал-проинструктировал… В числе добровольных помощников итальянского скульптора оказался и Толя Глазов, а, следовательно, и Клава, которой Рафаэлло Менотти, невзрачный, потешный с виду, жакпаганель, не иначе! понравился сразу – без обиняков и безоговорочно.

– Толя, – призналась девочка полушёпотом – знаете, а я кроме вас, Лазарет Лазаретыча ещё и Рафаэлика нашего люблю! Остальные – бяки скушные. Ну, правда, маменька есть, так ведь она само собой? Да? Да?! Её я отдельно люблю.

– Скульптор нас, худо-бедно, уму-ремеслу высокому учит… – серьёзно отвечал Анатолий и она, Клава, мыслишки детские собирала в уголочке укромном, на свету внутреннем разглядывала каждую – росла-взрослела. Иначе как? Нельзя иначе!

Общение же Анатолия с Менотти, который, оказалось, сносно владел русским, давало богатейший духовный материал парню. Его личные впечатления о европейце, равно как и отзывы последнего о поделках Толиных незатейливо-добрых, сердечных – всё это нанизывало на незримый, но сущий стержень Глазова нечто такое, словами неизъяснимое, но однозначно фаворское, что и гранит… гранит!

Для мастерской отвели залу большую в павильоне, как бы приросшем к правой ножке буквы «П» и запланированном прежде под оранжерею, которой, однако, здесь места не нашлось. Родион Яковлевич, любящий всё неохватное, грандиозное, задумал соединить оба крыла своего дворца хрустальным сводом и в ближайшем же будущем превратить пространство под крышей прозрачной в дивную сказку, переходящую в поэму фантастическую, глориэтой парящей увенчанную. Света в помещении пустующем было много, он дробился на оттенки спектра, играл экзотично, придавал улыбчивое, радужное сияние мраморным сколам-скалам, уже доставленным и ждущим терпеливо часа преображения… Менотти полагал, что образчики должны непременно *вылежать* на огне ярко-пёстром солнца, *поиграть*… словно вино молодое, *дозреть, выдержанными* стать. Он частенько в разное время заходил один совершенно в залу эту, где таилось эхо несказанное, подолгу всматривался в переливы, тона, тени светлые на поверхностях матово-шероховатых, искал единственные, для камня конкретного предназначенные, в камень конкретный спрятанные до поры будущие формы, фигуры, очертания силуэтов… представлял, как же здорово, сочно, по-новому блистать будут изваянные им скульптуры… антураж… В лучах закатных, падающих от фонарей, при взблесках молний, просто на солнце зенитном, либо на свету, что нежно, робко струится сквозь кроны высоченных деревьев, свезённых отовсюду и ныне только набирающих рост, сквозь облака зачарованные – сверкать, сиять, блистать! Либо приглушённо, стушёванно апофеоза величия в тишине царственной ждать… В минуты одинокого, мудрого созерцания губы Рафаэлло смешно шевелились, а в глазах бушевал неистово творческий тайности-святости экстаз! Стоит ли добавлять, что в мгновения оные никого поблизости не было и Менотти оставался один на один со своими взлётами вдохновения, с одержимостью рвущейся и – почему нет?! – разочарованиями, прозрениями, падениями… Тогда срочно слались в Европу гонцы и «на перекладных» также срочно завозились новые глыбищи мраморные, не чета прежним, а старые отодвигались (легко сказать!) в сторонку… И стоит ли говорить, что царили в зале-мастерской дружелюбие, поклонение труду, искорка божия! и что сюда только стремился Глазов и только здесь испытывала Клава необычные для себя, отнюдь не детские чувства, начала которым положил её «дядя-мальчик» своим «лесным человечком»!

…Работа закипела, озарение, поразившее итальянца неподалёку от глориэты, вылилось в несколько оригинальных решений – их-то и решил апробировать на тех кусищах мрамора, что, посчитал он, уже вполне «подошли»… созрели!

Впереди было много недель, месяцев неистового адского труда. Некоторые из уже облюбованных и «отлежавшихся» заготовок белейшего каррарского мрамора придётся пустить «на шлиф» – не беда, зато теперь он ясно представляет конечную цель и весь замысел в целом, словно бы со стороны видит готовым своё творение… Сей поистине шедевр… Нигде и ничего подобного не создавалось и в помине! Это будет не просто скульптурный ансамбль – Рафаэлло расширит границы парковой зоны и вровень с глориэтой, встречь ей, соорудит комплекс, островок на суше, идиллическую в разноцветных сортах мрамора (преобладать, конечно, станет снежность каррарская!) семейную мизансценку, что раскинется на довольно-таки солидном и опять же мраморном фундаменте и вместе с глориэтой образует единую неповторимость! Да, Родион Яковлевич будет в восторге! А европейские умы в очередной раз воздадут хвалу его, Менотти, таланту. Оценят по достоинству результат творческого свершения! Да, да… Расширить владения дворцовые надо – иначе нарушится некая внутренняя пропорция, соразмерность. Хм-м, интересно, ставить ли в известность хозяина? А может, на свой страх и риск приступить непосредственно к работам, чтобы спустя, скажем, год (не меньше!) показать ему сразу ВСЁ?! Заманчиво, заманчиво…

6

…Личного «дохтура» гореловского Лазаря Лазаревича Филимонова Анатолий зауважал также. За глубочайшие познания медицинские, желание в минуту каждую выручить, поддержать, подбодрить словом неказённым. За внешнее обаяние – невысокий, в меру лысоватый, упругий, словно выточенный из какого-то гибкого материала, тот являл собой вечный порыв к действию, к оказанию незамедлительной врачебной помощи нуждающемуся ли, просто любому ближнему. Главное же – Филимонов относился к Анатолию по-человечески. Ум, душа, золотые руки, аура тепла и добра – вот что постоянно исходило от всегда подтянутого и опрятного, слегка чудаковатого (в чём сравним был разве что с Рафаэлло Менотти!), энергично пришаркивающего по паркетам дивным анфилад (к неудовлетворению вящему Наталии Владимировны-с!) Лазаря Лазаревича Филимонова. Ещё на «ГРОМЕ», после памятного и определившего на дальнейшие годы судьбу Толи события, случившегося с Клавой, завёл подростка в каюту свою, оборудованную под лечебный стационар, и безапелляционно заявил:

– Тэкс-тэкс!! Давайте, молодой человек, осмотрим вас, не стесняйтесь-ка! Небось, впервые у врача? Вижу, вижу! Это поправимо! Проходите вот сюда, к свету поближе, устраивайтесь! Как, интересно здесь? Я ведь, мил человече, могу прямо тут и прооперировать! Мнда-сс… Тэкс, а теперь…

Он внимательно изучил былые раны и увечья Анатолия, несколько раз озабоченно прищёлкнул языком… Потом опять затараторил:

– Ничего, ничего… Вот будете регулярно меня навещать, сдадите кое-какие анализы… Поглядим, поглядим… Кстати, во дворце у меня возможностей куда как поболе, мнда-а-сс… Я ведь для каждого вроде иконки! Причём – тут он зашептал особенно весело, дружелюбно-доверительно, даже залихватски – от иконки да ладанки, замечу, душе польза, а вот от такого занудливого эскулапа, как я, – телу радость и толк. Да-да! И не спорьте со мной, пожалуйста! (Глазов не собирался спорить.) Засим – прошу-сс… Пока свободны! Вот, возьмите – станете принимать три раза в день, после еды. Оскорбиночка-сс… Кислинка, весьма полезна! И – приходите сюда, заглядывайте!! Хотя бы запросто. А что?

Слова такие, точь в точь почти, повторились, когда, спустя некоторое время, на берегу уже, в Ярках, приглашал жестом широким-гордым юношу в кабинет свой на третьем этаже

покоев гореловских, где и принимал, лечил, консультировал, обещал, утешал, совещания с приглашёнными светилами здешними и приезжими проводил, совещания, которые величал не иначе как «симпозиумами»! При надобности, разумеется, оперировал. Кабинет сей состоял из четырёх смежных и очень просторно-светлых комнат и располагался в правой (как и мастерская Рафаэлло Менотти!) боковой части дворца. Окнами кабинет выходил во двор, на павильон и импровизированную стройплощадку, где шлифовались айсберги каррарские-иные, свезённые для скульптора и постоянно обновляемые… Чуть дальше и начинался задумчивый, размеров громадных САН-СУСИ таёжный (по немецкому – ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАБОТ!), приявший в лоно своё кроме, собственно, дворца небывалого ещё и сад, ботаническому подстать, с высаженными редколиственными, другими деревьями, дубками, кустарниками, цветами на клумбах и в оригинальнейшей подаче под рококо, с плодово-ягодными растениями многочисленными – всё это великолепие тянулось на много вёрст вдоль Лены-реки, чьи заводи, лиманы, плёсы невеличкие-попутные также забредали сюда и навсегда оставались в черте, в зоне общей дворцово-парковой! Излишне говорить, что за поддержанием образцового порядка следили опытные садовники, супруги Акимовы – дело своё знали, обожали, потому-то и благоухало под окнами чертога практически круглый год. Ароматы сии наводняли и лечебные покои Филимонова, служили хорошим подспорьем лекарственным травам, настойкам… Переступающему за порог Анатолию почудилось было: попал в измерение иное – повсюду столики, на них приборчики, разные инструменты, главное же – стерильность абсолютная, чистота белоснежная… Сам Лазарь Лазаревич в длиннополом, до синевы открахмаленном халатике казался ангелом-хранителем чудесным, разве что без нимба сияющего над головой. Зато сверкали изумительно разложенные на столах коробочки серебристо-матовые с хирургическими инструментами да хрустально поблёскивали ёмкости всеразличные… И манила, обволакивала атмосфера обязательного здоровья, здорового образа жизни, сконцентрированная в стенах «Лазарет Лазаретычевых» владений!

– Тэкс… И что тут у нас?

Вопрошал участливо Филимонов, вооружаясь набором каких-то стекляшек, удобнее устраиваясь возле пациента, усаженного им предварительно в глубокое кресло, развёрнутое в сторону прозрачных окон…

В очередной раз изучал приплюснутый нос, рубцы, челюсть сдвинутую набекрень, потом просил раздеться до пояса, продолжал осмотр…

– Ничего, ничего-о… до свадьбы, глядишь, заживёт, а не заживёт, тоже не беда! Слыхали, – подмигивал – шрамы украшают мужчин!

Про себя он давно понял: изуродованная, искалеченная внешность парня хирургическому восстановлению не подлежит. Маленькому Толе откровенно повезло, что живым остался: в большинстве случаев подобные насильственные костные деформации приводили к летальному исходу и более здоровых, сформировавшихся людей. Правда, не без удовольствия отмечал Филимонов, юноша обладал отменной мускулатурой, был чудовищно крепок и тягаться с ним, бороться он не пожелал бы никому вообще! «А ведь с годами отрок сей станет ещё могучее!..» – мысль оная не давала покоя Лазарю Лазаревичу: в глубинах сознания всплывали из далёкого детства сказания про русских богатырей, причём, некоторых ведь и мать сыра-земля не носила…

Была у Филимонова и ассистентка, в прошлом белица-послушница, Ирина, девушка набожная, искусница-рукодельница, за кроснами частенько просиживающая. Отец, дед и прадед её кержачили, сама же взглядов придерживалась новых, потому-то смело в завтра шагнула, из дома ушла в монастырь женский. В миру жить не захотела – натура, склад души не позволяли. Решила, что не её это призвание – суета и сутолока повсеместные, оттого и уединилась в келье. Когда же Горелов собственного доктора заимел, а тот возьми, да заикнись о помощнице, о сестре милосердной, – мало ли что? – Родион Яковлевич и предложил: «Из монастыря

послушницу берите. Такая ничего лишнего себе не позволит, работать исправно будет!» Так вот и появилась Ирина во дворце. Науку медицинскую постигала охотно, дел грязных не чуралась, терпения же и кротости ей было не занимать – втайне гордилась новым местом – предназначение, перст свыше для себя видела, мыслила: «Поживу, пообтрусь маненько, да в полёт собственный пущусь, аки тезоименная великомученица, кою Седекия, Мигдонии правитель, в ров со змеями на десять дней бросил, распилить четырежды брался и кою Бог спас, на служение подвиг…» Высокое чувство жертвенности осеняло Ирину. Жертвенности – и преданности Всевышнему, идеалам святости, любви.

Анатолия уважала за зрелость его не по летам, твёрдость духа, с пониманием-прощением относилась к тому, что в услужении у дочери миллионера находился, жалела сердечно, хотя внешне жалость не выказывала – боялась (зря? нет ли?] самолюбие человеческое ранить больно… Однажды он доверился ей, рассказал о событиях неизгладимых в Кандале Старой, о том, что жаждет Ивана Зарудного повстречать («Того самого, что ли?» – спросила], дабы вместе, под началом мудрым, добрым – мстить, мстить… Глухо, со злостью звучал голос ломающийся, с нотками басовитыми-пробива-ющимися… непрошенные-непролитые слёзы влажнили…

Были они, слёзы те, от растерянности: как, как мстить-то, ежели главный виновник всех бед-несчастий – вот он, рядом, за стенкой, можно сказать, а поди, тронь – Клава изведётся, представить страшно, что статься может… Иногда в глубинах его сознания возникала страшная мысль: да чёрт с ней, с девчонкой-то! Она одна, а по воле «папеньки» её столько душ полегло невинных. Подойти надо к Горелову и просто убить его – ножом ли, кулаком. Но взгляд мальчика тотчас натыкался на подопечную и он понимал: это выше его сил… «Никогда, никогда рука моя не поднимется на живого человека, тем более на человека столь дорогого Клаве!»

Последние слова произнёс он сокрушённым голосом и по-детски совсем шмыгнул носом…

Тогда вплотную к нему подошла Ирина, молвила тихослышно:

– Бог терпел и нам велел, отроче. Ведай: в тебя много вложено. Хорошо, что открылся мне. Историю эту я и прежде слыхала, только без подробностей таких. Надобно все помыслы говорить, даже если сном смутился. Мысли человечьи – всё равно что дела; они аки пыль; скажешь – сотрёшь. Пустота в душе, когда плохое лелеешь. В себя, в себя углубляться надо – там великая тишина… К тишине той приникни. Засей душу свою! Каждый божий день сеять надобно. Так и живи! А муки, прежде принятые, – чтож… Не приняв муки, не бывати во святых!..

В лоб поцеловала. Перекрестила.

А потом им опять Филимонов занялся, деликатно отсутствовавший во время краткого сего монолога ассистентки своей, однако прекрасно слышавший горячую, взволнованно-горькую, злую речь Анатолия о массовой порке… И снова, в раз энный, интересовался одним и тем же, произносил беспомощно, жалостливо и немного виновато неизменное «тэкс, тэкс, и что это у нас такое, молодой человек?»… Тон выбирал не занудливый, не фальшиво-профессиональный, а самый человеческий, теплосердый, в глубь души проникающий… Души, где столько места для противостояний и смут!

– Говорите, били и били чуть не до смерти?! Гм-м… люди-люди! Сколько же звериного в вас! А правду вам доложу, доложу-у… Да вы и сами знаете правду ту. Косточки они вам переломали основательно! Хорошо, что срослись некоторые, что большого внутреннего кровоизлияния не сталось да загноения-сс… Это вам крупно-крупно подвезло! Иначе-так-то вот! Да-а… люди-люди! Особенно наш брат, мужик. Иной раз иду по городу, навстречу такой вот, из себя ого-го, шагает, потом – харк да под ноги прямо себе ли, ещё кому… или, простите, сморкается перед собой… На пол!! Что это, спрашиваю? БЕС-КУЛЬ-ТУРЬ-Е!!! И человек оный, мужичишка эдакий, по разумению моему твёрдому, горазд малолетку вусмерть зашибить, ибо

совесть всякая на внутренней культуре держится. И не спорьте, не спорьте! В каждом из нас всё тесно переплетено – не хватает чего-либо одного, так и другое получается каким-то вымороченным, скудным! Да-сс… А ещё добавлю…

В добродушном, искреннем, иногда бессвязном и невпопад, но страстном и заинтересованном бормотании сквозило столько любви к ближнему, к нему, то бишь, Анатолию, что однажды парень с трудом великим от слёз удержался… Сжав кулачищи, набычившись, ответил:

– Не про то речь-то, Лазарет Лазаретыч, миленький! Не про то… Другая печаль гложет нойко: о Клавушке! С барышней маленькой что?! Припадки ейные, безумства прошлые, истерики? Отколева, ась? И пошто ей погодье-т надушу? Уж и так, и эдак с ней – по-ласковому. Ни те проститься, ни сёскать! Дык всё одно! Скудает дитятко! Намедни-ч Шара-спотыкач, Охлопкова рыжик, чёй-то грил, грил – мимо, мимо[3]… Клавушка-т наша ажно побелела, что кроены Ирины вашей стала… Вот-вот в беспамятство рухнет, я же чую – бледнее мела! Уж как подоспел! Сынулю-т, вестимо, приструнить надыть, он хоча и запинатся, а всё лопочет, лопочет… Ну, я ево из дому-т отправил, попросил опосля всего. Ан, не хочет, гадёныш! Пришлось тово – за шкирку! Лазарет Лазаретыч, миленький, скажи: мне-кось что деять? Пособи, дохтур, не о своём благе пекусь же! Барышню жалеючи, токмо и думаю, что про здоровьице ейное! Огневица ж ся робёнка скрутит, скрутит… Беда, чаю, прегромадная, идёт. Поддаржливать ея, Клавуню нашу, силов моих, большо, нетути!! Бьюсь, бьюсь, как рыбёшка в лёд, дык зуб неймёт! вот где страсть-та-а… Што я? Баглай. Сам духом едва не изошёл, кабы не Бугров, не дядя Евсей – жизню мине по капелечке до бурелома сберегали, не то… Гнить бы и моим косточкам в ямище-т, да! Э-эх!!

Вздохнул растяжно.

«Лазарет Лазаретыч» вызвало на губах Филимонова улыбку: пароль назван, дело за ответом. Пауза нависла… Тут в комнату вплыла будто Ирина, вся лучезарная, смиренная, исполненная тайны… рекла:

– Жертвенный труд твой, но злой дух развязан здесь, мучает, гнетёт дитятю. Ведаю, что говорю. И ты ведай, отрок: будешь жить просто, будет ангелов состо. Простым оставайся. Тако думай: «Я хуже всех, всем должен доброе творить». Вот и приидет милость божия… Простота, унижение – это хорошо. Тогда душа, открытая для помыслов лукавых, дверью закроется и дары молитв, что накопились в ней, хранимы вечно будут. Люби всех – не то разоришь всё. Помни, помни: наш дом не здесь. Истинная жизнь наша – там. Здесь мы только сеять должны. Собирать потом будем. Плоды Господь потом даст.

Вышла тихо, затворила за собою…

Филимонов печально на Толю взгляд перевёл:

– Нервы её на пределе. Я Клаву имею в виду.

– ?!

– Потрясение, которое перенесла она, будучи совсем крохотулькой, неизгладимо скорее всего, увы!! Конечно, светила медицинские на счёт сей во мнениях расходятся, однако где они, светила те? Ну, были, приезжали, собирали консилиум даже… Толку? Её же не просто наблюдать надо! Есть у меня, молодой человек, кое-какие соображения… И что? У меня тут – вышел в соседнюю комнату, куда скрылась незадолго до этого Ирина, вернулся, тотчас почти, с папкой кожаной, толстой довольно, развязал тесёмочки… забелели подшитые аккуратно листки, испещрённые ровным менторским почерком службиста-аккуратиста… – у меня тут, видите ли, занесены результаты многочисленных, регулярных и по методике самой передовой выполненных наблюдений, анализов… Имеются и выводы кое-какие… Да-да-с… И выводы и мысли… тэкс! Предложения… Вот только держу всё это под замком покуда… Под замочком-с…

[3] Мимо – непрерывно, безпрестанно

Нервическим, отчаянным движением скорее швырнул, а не положил материалы уникальные на столик, затем то широкими, то семенящими шагами начал взволнованно метры мерять от окна к двери входной, причём, впечатление создалось, совершенно забыл, настолько разоткровенничался, что не взрослый перед ним человек, а, по сути, подросток ещё. Тот же лишь посторонился, с интересом далеко не детским внимая словам и не торопя, когда эскулап замолкал, но терпеливо ожидая, словно знал: вот-вот выплеснется из уст Филимонова нечто важное, наболевшее, истинное. Уж в этот-то раз наверняка выплеснется!..

– Есть, есть что-то, что постоянно усугубляет положение девочки! Она боится, не любит отца! И – души не чает в матери… Странно. Я как-то заговорил обо всём этом с Наталией Владимировной, и та посмотрела на меня так пронизывающе, так жёстко и внимательно, что мне аж нехорошо сделалось… А потом… потом на лице её возникло выражение… знаете, сударь мой, я не первый год живу на свете, всякое повидал, но вот, чтобы женщина глядела… затравленно, беспомощно и… горько, и обмануто… и безнадёжно… Там материнская озлобленность, там… я не нахожу слов просто! И всё это сразу, понимаете, сразу… вспыхнуло, обдало меня синим полымем… До нутра ожгло! Мне, тьфу! за слова свои тогда неловко сделалось. Она же повернулась резко на сто восемьдесят градусов, кругом, и ушла… У меня, честно вам скажу, до сего дня осадок какой-то… Ну, те-сс, однако не будем о грустном! Ей Богу, я так увлёкся воспоминанием своим, что напрочь позабыл, кто передо мною! Да-сс… А надежда? Надежда всегда остаётся, ведь правда? Одно только могу добавить, но это, разумеется, строго конфиденциально, то есть, между нами… Так вот, мне всё сильнее представляется, я почти убеждён, что если Клава наша испытает ещё раз нервное потрясение, подобное тому, которое перенесла, когда её хотели заживо сжечь, понимаете?., словом, мне кажется, переживи она ещё раз такое, то либо полностью сойдёт с ума, либо… Вы слышали такую поговорку: «Клин клином вышибают»? – Толя отрицательно покачал головой, напряжённо внимая сбивчивой, местами не до конца понятной речи доктора – Не слышали? Так вот-сс… Меня преследует смутное, неразборчивое ощущение, что если условия совпадут… почти… если почти всё совпадёт, то, чем чёрт не шутит, может быть, и спадёт с неё заклятие страшное судьбы… Ф-фух… Или хотя бы приблизительно совпадут обстоятельства… А? О чём это я? Самому как-то не по себе… говорю одно, думаю… Ведь ещё существует её отец! Вот ещё в ком корень зла! Да-да, отец… отец… Но ведь не может быть, чтобы он…

Глаза Филимонова сверкали безумием, ноздри раздувались…

– Идите, идите, молодой человек! И знаете, за ради святого всего, помалкивайте в тряпочку! Побольше любви, побольше теплоты душевной, заботы… Девочке нужно иметь перед собой какую-то цель постоянную, чтобы стремиться к ней… Ну, да ладно, я об этом с мамашкой ихней разговаривать буду. Когда человек к чему-то стремится, у него новые силы появляются. Из ничего прямо, из ниоткуда берутся… Да-да-да! И не вздумайте возражать! (Толя не думал.) И знаете что-сс… – Филимонов подскочил буквально к парню, зашептал быстро-быстро, озираясь, – знаете что… держитесь-ка вы, милсдарь, подальше! от! Родиона! Яковлевича! Горелова! И вообще… нечего вам тут делать!

Анатолий Глазов покидал на сей раз «апартаменты белые» вконец обескураженный, потрясённый. Сцены, схожие с вышеописанной, повторялись нередко, правда, Ирина в пенатах филимоновских больше не появлялась, видимо, сидела где-то неподалёку, в «горенке» у себя… что же касается самого Лазаря Лазаревича, то он неизменно начинал нервничать, увлекаться, перескакивать с любой темы, изначально избранной для общения доверительного с подростком, на эту, острую-волнующую, не отпускающую, разобраться в которой он пока до конца и без помощи-оказии случайной извне мог-не мог… Повторялись слова, жесты, даже то, как бросал он на столик рабочий пухлую папку с бумагами… Повторялось всё, в числе том и предложение Толе покинуть дворец, тихо, незаметно, «ночечкой»… Предложение, которое парень игнорировал… пока, но которое оплетало корнями своими и без того измочаленную, затрав-

ленную душу пацана. Отчасти «повинен» здесь и сам Анатолий был: всё чаще и чаще, но всегда за одним и тем же навещал доктора, хотел разобраться в проблеме, докопаться до истины… В рот смотрел «Лазарет Лазаретычу», однако последний либо сам недопонимал чего-то, либо умело и своевременно останавливал

потоки словоизлияний горячечных – и своих, и пациента. Всякий раз, уходя, Анатолий давал себе клятву мысленную: не просто заботиться о Клавушке, но изучать поведение девочки, подмечать нюансы, детали её состояния – на что именно и как именно реагирует деточка, он, наконец, на ходу учился предугадывать, последствия тех-иных, на ровном месте возникающих передряг житейских, коллизий и смягчать их, «подстилать соломку», словом(!] Главное же, максимально точно, оперативно доводил информацию ценнейшую, пропущенную сквозь сито собственной души, до сведения Филимонова. А для того, чтобы качественно, мудро выполнять рутинную-не рутинную работу сию, следовало ему, «баглаю», самому подняться на ступень выше, внимательнее и… образованнее стать. Во время очередного визита к врачу, в который раз выслушивая сентенции докторские, вспомнил Анатолий, как Горелов, приласкав дочку, полушутя чмокнул её в губки… Та отпрянула было, но Родион Яковлевич попридержал девчушку, а потом…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.